

ЛЮБОЛЬ

КНИГА 3

СТРАСТЬ ЦЫГАНА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Ульяна Соболева

Люболь 3. Страсть цыгана

«Автор»

2026

Соболева У.

Люболь 3. Страсть цыгана / У. Соболева — «Автор», 2026

Пять лет назад Ману отнял у меня свободу, назвал своей и заставил полюбить мужчину, которого я должна была ненавидеть. Теперь он вернулся. Израненный, ожесточённый, по-прежнему не умеющий просить и не признающий слова «нет». Он снова врывается в мою жизнь, чтобы забрать то, что считает своим: меня, наших детей и право решать нашу судьбу. Но на этот раз между нами не только любовь, похожая на зависимость. За нами тянется кровавый след старых преступлений, подменённых детей, чужих смертей и семейных тайн. Люди, которым мы доверяли, годами превращали наши жизни в тщательно разыгранный спектакль. И теперь прошлое требует расплаты. Чтобы спасти сына, Ману придётся выступить против собственной крови. Чтобы узнать правду о своём рождении, мне придётся разрушить всё, во что я верила. А чтобы снова быть вместе, нам нужно понять главное: можно похитить женщину, присвоить её тело и запереть рядом с собой — но невозможно заставить её остаться.

© Соболева У., 2026

© Автор, 2026

Ульяна Соболева

Люболь 3. Страсть цыгана

Глава 1

Я больше не плакала.

Наверное, внутри человеческого тела существует какой-то предел, после которого слезы заканчиваются так же внезапно, как кровь в перерезанной вене, и ты продолжаешь сидеть, смотреть в одну точку широко распахнутыми глазами, дышать через раз, но уже не чувствуешь себя живой. Просто сердце почему-то все еще сокращается в груди, упрямо, мучительно, с каким-то издевательским постоянством толкает по сосудам кровь, хотя ему давно не для кого биться.

Мое билось возле маленького холмика мерзлой земли.

Я лежала рядом с ним, свернувшись на снегу, и прижимала ладонь к тонкому деревянному кресту, словно могла почувствовать сквозь дерево, лед и землю крошечное сердцебиение Вадима. Иногда мне действительно казалось, что чувствую. Слабый толчок в кончиках пальцев, едва уловимое движение, будто мой мальчик просыпается там, внизу, открывает глазки и зовет меня беззвучным младенческим криком. Тогда я начинала царапать землю. Сначала медленно, потом все быстрее, с остервенением, ломая ногти о камни и не слыша, как Мира кричит за спиной, умоляет остановиться, хватая меня за запястья.

Но сегодня земля молчала.

Сегодня даже мне больше не лгала.

Снег забивался под рукава черного платья, таял на коже и стекал ледяными струйками вдоль позвоночника, но холода я почти не ощущала. После того как мне принесли тельце сына, завернутое в белую простыню, внутри меня поселилась другая зима, и по сравнению с ней эта, настоящая, казалась теплым дыханием. Та зима выморозила все. Выжгла морозом до черноты. Оставила вместо сердца кусок льда с вмурованным в него детским криком.

— Оленька, встаньте, — голос Миры дрожал, и от этого дрожания меня тошнило. — Пожалуйста. Уже темнеет. У вас снова жар начинается.

Я провела пальцами по неровно прибитой табличке. «Вадим». Без фамилии. Без даты рождения. Без молитвы. Без отпевания. Будто он не жил. Будто его не было во мне, будто он не рвал мое тело, появляясь на свет, не искал губами грудь, не сжимал мой палец крошечной ладошкой. Даже имени ему не оставили по-настоящему — несколько букв на дешевой дощечке, которые первый весенний дождь смоем вместе с грязью.

— Принеси краску, — хрипло сказала я.

Мира опустила рядом на колени. Ее темные волосы выбились из-под платка и прилипли к мокрым щекам. Она плакала за нас обеих, обильно, некрасиво, с опухшим носом и трясущимся подбородком, и я смотрела на нее с тупой завистью. Хотела отнять хотя бы одну ее слезу, выдавить из собственных глаз и понять, что внутри осталось что-то, кроме мертвого пространства.

— Какую краску?

— Красную. Я напишу его имя заново.

— Здесь нельзя красной, Оля. Отец Димитрий сказал...

— Тогда кровью.

Я подняла руку и посмотрела на обломанные ногти. Под ними запеклась земля, подушечки пальцев были разодраны до мяса. Если надавить сильнее, кровь снова выступит. Ее хватит на пять букв. На единственное, что я еще могла дать своему сыну.

Мира сдавленно всхлипнула и перехватила мою ладонь.

— Не говорите так. Не делайте так. Он на небесах, ему не нужна ваша кровь.

— Ему нужно было мое молоко, а его не было. Ему нужно было тепло, а я привезла его в мороз. Ему нужен был врач, а я таскала его по деревням, прятала, как украденную вещь. Теперь ему ничего не нужно, Мира. Удобно, правда? Мертвым вообще удивительно мало нужно. Кусок земли, дощечка и чужие слова о том, что им там хорошо.

Она прижала мои пальцы к губам, и ее слезы потекли по моим ранам. Защищало. Я выдержала руку.

— Не смей плакать на меня. И не смей говорить, что ему хорошо. Ты была там?

— Нет.

— Тогда не лги.

— Я только хочу вас утешить.

— Хочешь утешить — выкопай его. Принеси мне. Я согрею.

Мира зажала рот ладонью, словно я ударила ее. А мне захотелось ударить. Ее, себя, деревянный крест, серое небо, Бога, который смотрел, как мой ребенок умирает от голода, и не подавился ни одной молитвой, произнесенной в этих стенах. Я хотела драться со всем миром, но сил хватало только на то, чтобы снова лечь щекой на мерзлую землю.

— Уходи, Мира.

— Я вас не оставлю.

— Все оставили. И ты оставишь.

— Нет.

— Тогда сядь молча. Твой голос мешает мне его слышать.

Она замолчала. Только плакала еще тише, а я закрыла глаза и прислушалась. Из Храма доносился колокольный звон — тяжелый, низкий, торжественный. Каждый удар проходил сквозь землю и отзывался в моих костях. Там служили вечернюю, жгли дорогие свечи, целовали золоченые иконы и просили Господа о милосердии. Наверное, Он раздавал его там, внутри, порциями, в зависимости от толщины кошелька. Мне не досталось. Вадиму тоже.

Я не заметила, как рядом остановился отец Димитрий. Увидела сначала край рясы, испачканный снегом, затем массивный серебряный крест, качнувшийся перед моим лицом.

— Дочь моя, нельзя предаваться отчаянию. Это великий грех.

Я медленно подняла голову. Его лицо было правильным, благостным, выученным — складка между бровей изображала сочувствие, губы поджимались ровно настолько, чтобы показать скорбь, но не позволить ей испортить священное достоинство.

— А подменять милосердие словами — не грех?

— Твоя боль говорит за тебя.

— Моя боль хотя бы говорит правду.

Димитрий тяжело вздохнул и посмотрел на Миру, будто надеялся, что служанка заставит меня вести себя прилично. Мира опустила голову, но плечи ее напряглись.

— Тело ослаблено болезнью, разум помрачен горем, — продолжил он мягко. — Тебе необходимо вернуться в келью. Врач запретил находиться на холоде.

— Врач и ребенку запретил умирать?

— Мы сделали все, что могли.

— Вы даже не позволили его окрестить.

— Младенец был слишком слаб.

— Чтобы полить ему голову водой? Но достаточно силен, чтобы лежать за оградой рядом с грешниками?

На лице священника что-то дрогнуло, и я почувствовала маленькое, почти сладкое удовлетворение. Значит, попала. Значит, под рясой все-таки есть кожа, которую можно вспороть словом.

— Правила едины для всех, Ольга.

— Нет. Правила всегда разные. Для тех, кто платит, и для тех, кто уже не может заплатить. Пока мой отец набивал ваши сундуки, вы называли меня Ольгой Олеговной. Теперь я просто обезумевшая грешница, которую можно закопать рядом с сыном без молитвы.

— Никто не собирается тебя закапывать.

— Жаль. Это была бы первая настоящая милость с вашей стороны.

Мира вскочила и вцепилась мне в плечи.

— Не говорите так! Никогда больше не говорите!

Я засмеялась. Звук получился страшным, сухим, похожим на треск промерзших веток.

Отец Димитрий осенил себя крестом, а у Миры расширились глаза.

— Видите? — прошептала я. — Даже мой смех теперь боится Бога. Или ваш Бог боится меня?

— Тебе нужен покой, — голос Димитрия стал жестче. — Завтра придет отец Даниил. Он поможет принять верное решение.

Имя полоснуло по нервам. Я приподнялась, опираясь ладонью о крест.

— Какое решение?

— О дальнейшем пребывании в Храме. О постриге. О твоём имуществе, которое на время болезни должно находиться под ответственным управлением.

И вот тогда я почувствовала. Не жизнь — слишком громкое слово. Всего лишь тонкую горячую иглу ярости, вошедшую под ребро.

— Мой сын еще не успел остыть в земле, а вы уже считаете мои деньги?

— Не кошунствуй. Речь идет о защите твоих интересов.

— От кого? От меня самой?

— В твоём состоянии ты не можешь принимать решения.

— Зато вы можете. Удивительная болезнь: умирает мой ребенок, а недееспособной становлюсь я. И лекарства от нее, конечно, хранятся в бумагах с моей подписью.

Димитрий побледнел. В его взгляде впервые проступило настоящее чувство — раздражение.

— Отец Даниил придет утром. Ты поговоришь с ним уважительно.

— Пусть возьмет перчатки. В прошлый раз он уже обжегся.

Священник отшатнулся так резко, будто я плеснула ему в лицо кипятком. Значит, знает. Возможно, все они знали, как Даниил смотрит на меня, как задерживает масляные пальцы на моих волосах, как облизывает губы, прикрывая похоть словами о спасении души. Мужчины удивительно любят называть спасением желание посадить женщину на цепь. Один прячет цепь под рясой, другой — под черной кожей и звоном цыганского золота.

Ману.

Имя возникло внутри, и горячая игла ярости обломила. Остался тупой осколок, который невозможно вытащить.

Я не сказала ему о сыне. Не дала прикоснуться к животу, не позволила услышать первый крик, не дождалась, когда он придет. Я бежала от мужчины, который однажды уже выжил после моей любви, и унесла с собой единственное живое доказательство того, что мы могли создать не только ненависть.

А потом убила и его.

«Проклинай меня, Ману. Только не прощай».

Если он придет, я покажу ему могилу. Позволю вытащить меня за волосы на площадь, бросить перед своими людьми и объявить убийцей его наследника. Пусть режет медленно. Пусть отдает мою боль по кусочку тем, кто потерял родных из-за Лебединских. Я не стану просить. Только смотреть буду в его зеленые глаза и ждать, когда он доберется до того места, где раньше находилось сердце.

Ему придется долго искать.

— Уведите ее, — приказал Димитрий.

Два послушника подошли сзади. Мира попыталась заслонить меня, но ее оттолкнули. Мужские руки сомкнулись на моих локтях, подняли со снега. Я не сопротивлялась. Ноги не слушались, ступни волочились по земле, оставляя две кривые полосы от могилы к Храму.

— Вадик, — позвала я тихо.

Мира разрыдалась.

— Вадим!

Меня тащили быстрее, а могила становилась все меньше. Деревянный крест плыл в снегопаде, расплывался перед глазами. Я дернулась, впервые пытаюсь вырваться.

— Вадим! Я здесь! Мамочка здесь!

Один из послушников сильнее сжал мне руку. Я развернулась и ударила его головой в лицо. Хрустнул нос, брызнула кровь. Мужчина взвыл и отпустил меня, второй схватил за волосы. Я упала на колени, но продолжала ползти назад, царапая ногтями снег.

— Не оставляйте его одного! Он боится темноты! Мира, скажи им! Скажи, он не любит один! Я обещала... я обещала держать его на руках!

— Олечка! — Мира упала рядом и обняла меня, а я билась в ее руках, выла, кусала собственные губы до крови, потому что слез по-прежнему не было. — Простите меня! Простите!

— За что ты просишь прощения?

Она замерла всего на мгновение. Так коротко, что я могла бы не заметить, если бы не смотрела прямо в ее темные, залитые ужасом глаза.

— За то, что не спасла вас обоих.

Меня все-таки унесли.

В келье пахло воском, сыростью и лекарствами. На узкой кровати лежала чистая рубашка, на столе стояла миска с нетронутой кашей. Мира закрыла дверь перед послушниками, помогла снять мокрое платье и ахнула, увидев синеву кожи. Я стояла перед ней обнаженная, равнодушная к собственной наготы, и смотрела на живот. Еще недавно он был огромным, живым, двигался под ладонью. Теперь кожа сморщилась, бедра были измазаны засохшей кровью, грудь налилась и болела так, что любое прикосновение отдавало мучительной пульсацией в висках.

Молоко пришло после смерти Вадима.

Щедро. Обильно. Издевательски.

Оно стекало по животу белыми каплями, а я смотрела и медленно сходила с ума от унижения собственного тела, которое опоздало стать матерью.

В мутном зеркале напротив отражалась чужая женщина. Я помнила Ольгу Лебединскую другой: ослепительно белая кожа, яркие бирюзовые глаза, длинные огненно-красные волосы, на которые мужчины смотрели так, будто хотели согреться в их пламени и одновременно боялись сгореть. Отец называл меня своей драгоценностью, отец Даниил — искушением, а Ману смотрел так, словно цвет моих волос придумали специально для того, чтобы он наматывал их на кулак.

Теперь волосы свалились в тусклые кровавые веревки, скулы заострились, под глазами залегли синеватые провалы, а губы растрескались и почернели от засохшей крови. Красивой оставалась только грудь — тяжелая, полная молока, созданная кормить мертвого ребенка. От этой красоты хотелось содрать с себя кожу. Я подняла руку и накрыла сосок ладонью, сжала сильнее, до боли, до белых вспышек перед глазами. Между пальцами выступило молоко.

— Не надо! — Мира перехватила мою руку.

— Почему? Жалко?

— Вас жалко.

— Тогда вырежи их. Обе. Они мне больше не нужны.

— Оля...

— Не смотри на меня так! — Я оттолкнула ее и сама пошатнулась, ударившись лопатками о холодную стену. — Знаешь, что самое смешное? Он бы сошел с ума, увидев меня такой. Ману любил мое тело больше, чем я сама. Целовал живот, хотя не знал, что там его сын. Или знал... Этот проклятый зверь всегда чувствовал меня лучше, чем я себя. А я боялась, что он отнимет ребенка, и украла Вадима первая. Украла у отца, чтобы отнести прямо в могилу.

— Вы его спасали.

— Я бежала.

— От войны.

— От Ману.

Мира опустила глаза, и это молчание ударило сильнее обвинения.

— Скажи, — потребовала я. — Скажи вслух, что я убила его сына.

— Не скажу.

— Потому что боишься?

— Потому что это неправда.

— Тогда почему не смотришь на меня?

Она вскинула голову. В ее глазах было столько боли, что я на мгновение задохнулась.

— Потому что, когда Ману придет и узнает, я не знаю, кого мне придется спасти первым. Вас от него или его от вас. Вы уничтожаете друг друга так, словно это единственный способ любить, которому вас научили.

Я отвернулась к зеркалу. Женщина там улыбнулась разбитыми губами.

— Нас никто не учил любить, Мира. Поэтому у нас так хорошо получается только убивать.

— Перевяжи, — попросила я.

Мира отвернулась, чтобы скрыть слезы, взяла длинную ткань и туго обмотала мою грудь. Я не стонала, хотя от давления темнело в глазах. Пусть болит. Боль была единственным, что связывало меня с сыном.

— Отец Даниил не получит мои деньги, — произнесла я, когда Мира помогла надеть рубашку. — Найди документы.

— Их забрали.

— Кто?

— Отец Димитрий сказал, что сохранит до вашего выздоровления.

Я медленно повернула голову.

— Телефон?

— Тоже.

— Дверь заперта?

Мира не ответила. Подошла, дернула ручку. Дерево даже не шелохнулось.

Я посмотрела на зарешеченное окно и снова засмеялась. Тихо, беззвучно. Все возвращалось на свои места. Отец хотел запереть меня в особняке. Ману запер в Огнево. Теперь это делал Храм. Мужчины менялись, клетка оставалась прежней. Только раньше я царапала прутья, мечтая выбраться, а сейчас не понимала, зачем мне свобода.

— Ложитесь, — прошептала Мира. — Я попробую найти ключ.

— Не надо. Утром приедет Даниил. Посмотрим, насколько глубоко он решит засунуть руки в мою душу, прежде чем поймет, что там больше нечего красть.

Мира уложила меня, накрыла одеялом и села рядом. Я закрыла глаза. За стеной завывал ветер, в коридоре звучали шаги, где-то далеко скрипнула дверь.

А потом раздался плач.

Тихий, хриплый, младенческий.

У меня остановилось сердце.

Я вскочила так резко, что комната перевернулась, ударилась бедром о стол и бросилась к двери.

— Вы слышали? — выдохнула я.

Мира побледнела.

— Что?

— Ребенок.

Плач повторился. Совсем близко. За стеной или в конце коридора. Тот самый надорванный звук, который я слышала ночами, прижимая Вадима к пустой груди. Я узнала бы его среди тысячи голосов. Среди грохота выстрелов, церковного звона и собственного предсмертного крика.

— Это он.

— Оля, здесь живут семьи служителей. У кого-то мог быть младенец.

— Нет.

Я забарабанила кулаками в дверь.

— Откройте! Откройте немедленно!

За дверью послышались торопливые шаги. Щелкнул замок. Я оттолкнула послушника и побежала по коридору босиком, держась рукой за стену. Плач оборвался, но я уже знала направление. Последняя дверь справа. Та, возле которой раньше никогда не стояла охрана.

Я дернула ручку. Заперто.

— Откройте, — прошептала я.

Подбежавший послушник схватил меня за плечи.

— Там никого нет.

Из-за двери донесся короткий детский всхлип.

Мое тело выгнуло от такой страшной, невозможной надежды, что она оказалась более отчаяния. В груди что-то разорвалось, и впервые после похорон по щекам потекли слезы — горячие, обжигающие, живые.

Я прижалась лбом к холодному дереву.

— Вадим?.. Сынок, это мама.

За дверью мгновенно стало тихо.

Глава 2

Мой сын умер, а я даже не знал, что он жил.

Эта мысль вошла в меня не пулей — пуля милосердна, она разрывает мясо, ломает кость и либо убивает сразу, либо оставляет рану, которую можно зашить. Мысль вошла ржавым крюком, зацепилась за внутренности и волочилась следом все двадцать километров до Теменьково, выдирая по дороге куски печени, легких, сердца, а я шел впереди своих людей и не имел права согнуться.

Баро не сгибается.

Даже если внутри него уже нет ни одной целой кости.

Снег хрустел под сапогами, ветер бил в лицо мелкой ледяной крошкой, забивался под воротник и царапал шрамы под маской. Кожа там воспалялась от холода, стягивалась, будто кто-то снова медленно проводил ножом по старым рубцам, вспарывая их один за другим. Я не поправлял черную полумаску. Пусть натирает до крови. Пусть боль снаружи хотя бы ненадолго заглушит ту, что бесновалась под ребрами и требовала вырвать себе сердце голыми пальцами, бросить в снег и растоптать, потому что оно, сука, продолжало биться после смерти моего ребенка.

Я опоздал.

Опоздал к ней. К нему. К тому единственному, чего у меня никогда не было и что я, оказывается, успел потерять.

— Ману, остановимся на десять минут, — сказал Савелий за спиной. — Люди вымотаны. Лошади тоже.

Я продолжил идти.

— Они могут вернуться.

— Кто вернется — тот останется без ног.

— Очень вдохновляет, баро. Особенно тех, у кого пальцы в сапогах уже примерзли к носкам.

— Отрежут пальцы. Нести будет легче.

Кто-то сзади хрипло рассмеялся и тут же подавился смехом, когда я повернул голову. Их было девятнадцать. Черные фигуры на белой дороге, вооруженные, злые, голодные. Мои люди шли за мной из Огнево не потому, что я обещал им деньги или безопасное возвращение. Цыгане редко верят обещаниям о безопасности — слишком много наших женщин уже слышали их перед тем, как у них отнимали детей, слишком много мужчин соглашались сложить оружие и получали пулю в затылок. Они шли, потому что я баро. Потому что моя женщина находилась за стенами Храма. Потому что мой сын родился и умер среди гаджо, не услышав ни одной песни своего народа.

И все они знали, чья кровь текла в женщине, которую мы шли забирать.

— Передохнем у старой мельницы, — бросил я. — Пять минут.

— Десять.

— Теперь три.

Савелий выругался по-цыгански, поравнялся со мной и пошел рядом. На его темных волосах лежал снег, в густой бороде застыли белые капли. Он смотрел прямо перед собой, но я чувствовал его взгляд так же отчетливо, как нож у горла.

— Ты долго будешь молчать? — спросил он.

— Пока ты не научишься ценить тишину.

— Я ценю. Особенно когда ты молчишь и никого не режешь. Но с того момента, как узнал о мальчике, у тебя лицо стало страшнее, чем без маски.

Я резко остановился. Люди позади нас тоже замерли. Так всегда происходит, когда останавливается баро: будто одна невидимая веревка стягивает всех за горло.

— Повтори.

Савелий повернулся ко мне. Не отступил. Только сузил глаза.

— Я сказал: тебе нужно думать головой, а не тем, что сейчас гниет у тебя в груди.

Я ударил его. Кулак вошел в скулу, голова Савелия дернулась, на губе выступила кровь. Он сплюнул красное в снег, медленно выпрямился и провел языком по рассеченной коже.

— Полегчало?

— Нет.

— Тогда бей еще. Может, к Теменьково останется только один баро, и людям наконец не придется выбирать, кого из двух бешеных Алмазовых слушать.

Я схватил его за ворот и притянул к себе.

— У меня не было сына.

Слова разодрали горло. Я впервые произнес их вслух, и мир качнулся. Даже ветер словно на мгновение стих, прислушиваясь, как Ману Алмазов признает свое поражение.

— Был, — тихо ответил Савелий.

— Не смей.

— У тебя был сын.

— Я не видел его.

— Это не значит, что его не существовало.

— Я не держал его на руках! Не слышал, как он орет! Не дал ему имени! Не показал людям! Он лежал у нее в животе, когда она сбежала от меня, а я, как последний проклятый

идиот, думал только о том, с кем она будет спать, кому позволит касаться себя, кого выберет вместо меня!

Я встряхнул брата так, что у него клацнули зубы, но говорил уже не ему. Я орал в лицо той ночи, когда обнаружил пустую комнату, разорванные простыни и отсутствие ее запаха. Орал в собственную рожу — изуродованную, безумную, надменную — в рожу мужчины, который умел по следам найти врага, по одному взгляду распознать предательство, но не заметил, что его женщина носит под сердцем ребенка.

— Она знала, — прохрипел я. — Знала и унесла его. Украла у меня.

— Ты сам ее украл.

Я сильнее стиснул ворот Савелия.

— Ты решил умереть сегодня?

— Нет. Решил напомнить, с какой женщиной связался мой брат. Ты похитил Лебединскую, запер, сделал своей женой, а потом удивился, что она поступила так же и украла у тебя то, что считала своим. Вы одинаковые, Ману. Только у нее волосы красивые, а у тебя характер дерьмовее.

В другой день я бы сломал ему челюсть. Сейчас пальцы сами разжались. Савелий отступил, поправляя ворот.

— Ты должен был сказать мне, — процедил я.

— Я не знал.

— Ты всегда все знаешь.

— Тогда можешь еще раз ударить. Вдруг память улучшится.

Я отвернулся. Перед глазами стояла Ольга — не такая, какой я видел ее в последний раз, бледная от страха и упрямая до желания задушить, а с округлившимся животом. Моя чиреклы, несущая моего сына и прячущая от меня обеими руками. Я представлял, как ее ослепительно белая кожа натягивается под ладонью, как внутри толкается маленькая нога, как она смотрит на меня своими невозможными бирюзовыми глазами и боится, что я отниму ребенка.

Правильно боялась.

Я бы отнял.

Я слишком хорошо помнил ее тело, чтобы теперь не видеть на нем следы беременности, которой меня лишили. Помнил белую кожу под ладонями, тонкую талию, полную грудь и то, как огненные волосы рассыпались по простыням, будто кто-то разлил вокруг нее кровь. Я знал каждую родинку, каждую дрожь, каждый звук, который она пыталась проглотить, чтобы не подарить мне удовольствие услышать собственное имя. Но я не знал самого главного — что после меня в ней осталась жизнь.

Наверное, она поняла раньше меня. Лежала рядом, чувствуя изменения в своем теле, и молчала, пока я целовал ее живот, кусал внутреннюю сторону бедра, прижимал к постели и в очередной раз говорил, что она моя. Она смотрела сверху вниз своими ледяными глазами и уже знала, что заберет у меня сына, если сумеет вырваться.

От одной мысли, что мой ребенок слышал ее крики, когда я входил в нее, что находился между нами — крошечный, невидимый, уже живой, — кровь ударила вниз живота так резко и чудовищно неуместно, что меня затошнило от самого себя. Я стоял посреди заснеженной дороги, оплакивал мертвого младенца и одновременно хотел его мать с такой болезненной силой, будто похоть тоже сошла с ума и решила жрать горе из одной миски с любовью.

Ольга сделала меня уродом не тогда, когда ее отец приказал изрезать мое лицо. Шрамы можно спрятать под кожей. Настоящее уродство она вырастила внутри: заставила желать ее в ненависти, любить во время мести, ревновать к мертвым и хотеть даже сейчас, когда молоко для моего сына, возможно, еще не высохло на ее груди.

Я стиснул зубы до боли.

Когда найду, накажу ее за каждую украденную минуту. А потом прижму к себе так сильно, что наши сломанные кости срастутся неправильно и мы уже никогда не сумеем разойтись.

Закрыв бы все двери, выставил вокруг дома сотню людей, приковал ее к постели, если потребовалось, и сам лег бы рядом, положив руку на живот. Она ненавидела бы меня каждый день, резала бы словами и плевала в лицо, но мой сын родился бы в Огнево. Его встретили бы женщины нашего рода, вымыли водой с травами, завернули в ткань, которую вышивали для наследников Алмазовых. Старики благословили бы его. Мужчины стреляли бы в воздух, возвещая, что у баро родился мальчик. Всю ночь горели бы костры, звучали скрипки и гитары, каблуки выбивали бы искры из камня, а я носил бы его на руках и никому не позволял прикоснуться слишком долго.

Вместо этого он умер от голода в какой-то проклятой деревне.

Мой сын кричал, а меня рядом не было.

— Как его звали? — спросил я.

Савелий долго молчал.

— Вадим.

Имя оказалось обычным. Не нашим. Чужим. Она назвала моего сына без меня, отрезала от моего рода даже буквами.

Вадим.

Я повторил беззвучно, и меня перекосило так, будто крюк внутри дернули сразу двое. Колени на мгновение ослабли. Я сделал шаг к дереву и уперся ладонью в шершавый ствол, притворяясь, что рассматриваю дорогу. Баро не имеет права падать перед людьми. Брат имеет право увидеть мою спину. Больше — ничего.

— Она сама рожала? — спросил я.

— С женщинами. В деревне.

— Сколько прожил мальчик?

— Несколько дней.

— А она?

— Что она?

Я медленно повернулся.

— Плакала?

Савелий отвел взгляд. И этого хватило. Если бы сказал «да», я представил бы ее слезы. Если бы «нет» — возненавидел бы еще сильнее. Но его молчание показало мне то, чего я не хотел видеть: Ольгу, прижимающую к пустой груди голодного младенца, ее красные волосы на грязных простынях, кровь между белых бедер, лихорадку, страх и тот момент, когда ей отдали остывшее тело.

Меня согнуло пополам.

Я зажал рот ладонью, и из горла вырвался звук, за который я убил бы любого свидетеля. Не стон и не рык — какое-то животное, беспомощное клочкотание. Желудок сжался, к горлу подступила желчь. Меня вырвало прямо в снег — водой и кровью из разодранного после самогона желудка. Я стоял на четвереньках, содрагаясь всем телом, а вокруг молчали девятнадцать вооруженных мужчин.

Никто не подошел.

Так было правильно.

Горе баро — тоже его собственность.

Я вытер рот снегом и поднялся. На белой поверхности осталось алое пятно. Такое же яркое, как ее волосы. Эта женщина умудрялась присутствовать даже в моей рвоте.

— Кто видел тело?

— Монах, служанка, несколько людей в Храме.

— Мира?

— Да.

— Кто хоронил?

— Пока не знаем.

— Почему не знаем?

Савелий вздохнул.

— Потому что мы получили сведения час назад, а не живем внутри головы отца Димитрия.

— Значит, плохо работаете.

— Конечно. Ты же последние недели давал нам столько ясных приказов между бутылками, девками и дурыю.

Я посмотрел на него. Раньше одного такого напоминания хватило бы, чтобы человек лишился языка. Савелий мог позволить себе больше остальных. Но не потому, что был братом. Потому что однажды уже вытаскивал меня из ямы, наполненной трупами наших родных, и имел право иногда заталкивать обратно в нее лицом.

— Больше не будет, — сказал я.

— Чего именно? Водки, дури или девок?

— Ничего не будет.

— А что останется?

— Она.

— Если захочет остаться.

Я медленно повернул к нему голову.

— Не повторяй чужие глупости. Я не спрашивал ее в первый раз и не стану спрашивать сейчас. Ольга моя. Ее желание — просто шум, который она издает, пока привыкает к неизбежному.

Савелий усмехнулся разбитой губой.

— Вот теперь узнаю брата. А то я уже испугался, что горе сделало из тебя нормального человека.

У мельницы люди развели маленький огонь, закрыв пламя брезентом от чужих глаз. Женщины передали с нами хлеб, сало, сушеное мясо и фляги с крепким чаем. В одном из свертков я нашел красную нить с тремя узлами. Старая Зара завязала ее для моего сына, когда услышала о беременности. Значит, женщины знали раньше меня. Возможно, не все, возможно, только догадывались, глядя, как Ольга бледнеет по утрам и прячет живот свободными платьями.

Я намотал нить на палец. Тонкая. Детская. Бесполезная.

— Это надо положить ему в могилу, — тихо произнес Дани.

Я поднял взгляд. Он стоял у огня, осунувшийся, с темными кругами под глазами. На шее висел медальон, который когда-то носила наша мать. Дани тоже был разрушен своей женщиной, только его боль сейчас не имела значения. Ни одна боль не имела.

— Ты видел моего сына?

— Нет.

— Тогда не говори о его могиле.

— Я хотел...

— Когда захочу узнать, чего ты хотел, вскрыю тебе череп и посмотрю.

Дани сжал челюсти.

— Не на тех рычишь, брат.

— Я еще не начал рычать.

— Начнешь в Храме — положишь рядом с мальчиком половину наших. Там вооруженная охрана, полиция перекрыла дороги, люди Макара прочесывают окрестности. Они ждут нападения.

— Пусть ждут.

— Совет старших приказал вернуть тебя в Огнево.

Вокруг костра стало тихо. Люди опустили глаза. Вот почему они шли молча. Приказ совета уже дошел до каждого, кроме меня.

— Совет старших может приказать ветру не дуть, — сказал я. — Результат будет тот же.

— Они считают, что нельзя рисковать общиной ради дочери Лебединского.

Я подошел к Дани вплотную.

— Передай старшим: дочь Лебединского закончилась в тот день, когда я надел ей на шею свои камни. В Храме находится жена баро. Мать моего наследника. Кто считает иначе, пусть скажет мне в лицо, и я объясню, сколько костей может сломать мужчина, прежде чем перестанет считаться старшим.

— Наследник мертв, — вырвалось у него.

Я ударил Дани тыльной стороной ладони. Он пошатнулся, но устоял.

— Еще раз назовешь моего сына мертвым до того, как я увижу его своими глазами, закопаю рядом с ним тебя.

— Ты сам знаешь правду.

— Я знаю только то, что сказали люди Храма. А попам я не поверю, даже если они сообщат, что зимой идет снег.

Савелий резко посмотрел на меня.

— Что ты хочешь сказать?

Я сжал красную нить в кулаке.

Не хотел ничего говорить. Надежда унижала сильнее слез. Она превращала меня в нищего, готового ползать у ног любого лжеца ради одного невозможного обещания. Но тело сына видели чужие. Хоронили чужие. Имя написали чужие. Ольгу держали в Храме, где за молитвой всегда пряталась цена.

— Я хочу увидеть могилу.

— Увидишь, — сказал Савелий.

— И ребенка.

Он побледнел.

— Ману...

— Я выкопаю его сам, если потребуется. Посмотрю в лицо. Пересчитаю пальцы. Узнаю, есть ли на нем моя кровь. И только после этого позволю произнести, что мой сын умер.

Со стороны леса послышался условный свист. Люди мгновенно поднялись, спрятали еду, затоптали огонь. Из темноты появился запыхавшийся мальчишка лет шестнадцати — один из тех, кого Савелий отправил в Теменьково под видом беженцев. Он добежал до нас, приложил ладонь к груди и склонил голову.

— Баро.

— Говори.

— Мы нашли женщину из Храма. Она видела вашу жену.

Горло сдавило так, что следующий вдох прошел со свистом.

— Жива?

— Жива.

Одно слово. Всего четыре буквы, а меня словно ударили в грудь прикладом. Я не показал. Только красная нить в кулаке прорезала кожу.

— Где она?

Мальчишка сглотнул.

— Возле могилы ребенка. Ее уносят оттуда силой, а она возвращается. Не ест. Не спит. Лежит на снегу и зовет сына. Говорят, сегодня ее заперли в келье, потому что она пыталась разрыть землю руками.

Перед глазами стало темно. Я увидел ее пальцы — тонкие, белые, с обломанными ногтями, в крови и земле. Те самые пальцы, которые когда-то гладили мои шрамы, снимали маску, сжимали пузырек с противоядием и возвращали меня с того света, чтобы потом снова убить.

Моя девочка-смерть лежала на могиле нашего сына и звала его под землей.

Внутри меня что-то окончательно сдохло.

А то, что осталось, подняло голову и оскалилось.

— Найдите могилу, — приказал я. — И приведите мне человека, который закапывал ребенка.

— Живым? — спросил Савелий.

Я натянул перчатки и посмотрел в сторону огней Теменьково.

— Пока не заговорит.

Глава 3

Я украл у женщины сына и каждое утро благодарил Бога за то, что она еще не догадалась.

Потом становился на колени перед иконой, бился лбом о холодный каменный пол и просил прощения — не у Ольги, нет, до этого я пока не дорос душой, — у Господа, будто Он сидел где-то наверху с огромной книгой, записывал мои грехи аккуратными буквами и мог однажды зачеркнуть самый страшный, если я достаточно сильно раскрою себе череп о плиты.

Но Бог молчал.

Зато плакал ребенок.

Я вздрагивал от каждого его крика, потому что в одном конце коридора Лариса прижимала мальчика к груди и называла Егорушкой, а в другом Ольга Лебединская царапала дверь окровавленными ногтями и звала Вадима. Один и тот же младенец разрывал двух женщин на части двумя разными именами, а я стоял между ними, как мясник с тупым ножом, и убеждал себя, что спас жизнь.

— Тише, Егорушка, мамочка здесь, — напевала Лариса, покачиваясь на краю узкой постели. — Кушай, маленький. Кушай, мой хороший. Ты же проголодался.

Мальчик жадно захватывал губами сосок, причмокивал, сердито сопел и морщил крошечный лоб. В свете свечи его лицо казалось почти прозрачным, тонкая кожа на висках просвечивала голубыми жилками, темные волосики прилипли к голове. Такой маленький, что вся жизнь помещалась между ладоней. Такой живой, что на него было больно смотреть.

Наш Егор так не ел.

Наш настоящий сын уже не мог сосать, когда Лариса прикладывала его к груди. Он только открывал рот, поворачивал голову и тихо всхлипывал, будто заранее просил прощения за то, что умирает. Я приносил на ложке козье молоко, звал врача, растирал крошечные ступни, грел дыханием посиневшие пальчики, но болезнь уже сидела внутри и ела его быстрее, чем мы успевали молиться.

А этот мальчик ел за двоих.

За себя и за того, кого я положил вместо него в чужую колыбель.

— Посмотри, Тиша, — Лариса подняла на меня огромные черные глаза. Когда-то они пугали людей: жена видела в темных углах тени, разговаривала с умершей матерью, просыпалась среди ночи и зажигала все свечи, потому что кто-то, по ее словам, стоял возле кровати. Сейчас глаза сияли. На щеках появился румянец, светлые волосы рассыпались по плечам мягкими волнами, губы, еще вчера искусанные до крови, улыбались так счастливо, что у меня сводило кости от боли. — Он поправился. Я же говорила тебе. Я знала, что Господь не заберет нашего мальчика. Просто испытывал нас.

— И-и-испытывал, — повторил я.

Когда волновался, заикание возвращалось. Брат в детстве бил меня по губам, заставляя произносить слово заново, а мать обнимала и говорила, что язык спотыкается только у тех, чьи

мысли бегут быстрее чужих. Сейчас мысли не бежали. Они ползли на четвереньках по битому стеклу.

— Ты опять начинаешь, — Лариса нахмурилась. — Не волнуйся. Все уже хорошо.

Все было настолько хорошо, что мне хотелось вскрыть себе живот и выпустить это «хорошо» наружу вместе с внутренностями.

Я подошел ближе. Ребенок оторвался от груди, недовольно запищал, и Лариса тихо рассмеялась. У нее был красивый смех — звонкий, девичий. Последние месяцы он исчез, как вода в пересохшем колодце. Я готов был продать душу, чтобы услышать его снова.

Кажется, именно это и сделал.

В ту ночь я вошел к Ларисе и сразу понял, что Егор умер. В комнате не стало тише — наоборот, тишина загрохотала так, что заложило уши. Жена спала сидя, привалившись к стене, прижимала к груди неподвижный сверток и улыбалась во сне. Наверное, ей снилось, что сын наконец перестал плакать от боли и спокойно уснул. Я подошел, коснулся пальцем его щеки и почувствовал холод, который невозможно перепутать ни со сном, ни со слабостью, ни с чудом.

Хотел разбудить Ларису. Открыл рот, но представил, как исчезает эта улыбка, как она смотрит на мертвого ребенка и понимает, что тени, которых боялась всю беременность, все-таки пришли за ним. Представил, как она раздирает ногтями лицо, выбегает на мороз босиком или бросается с колокольни. И не смог.

А потом Даниил позвал меня к себе.

На столе в соседней комнате лежал другой младенец. Красный от крика, голодный, злой, живой. Рядом метался отец Антон, рассказывал про молодую женщину с огненными волосами, которую привезли в лихорадке. Даниил даже не посмотрел на малыша. Перебирал бумаги и раздраженно морщился от плача.

«Придуши его, Тихон. Все равно не жилец. Матери скажем, что умер от болезни. Ей сейчас не до вопросов».

Я взял ребенка, чтобы исполнить приказ. Правда взял. Положил ладонь на крошечное лицо и почувствовал, как горячие губы ищут воздух между моими пальцами. Он был похож на Егора. Не лицом — младенцы часто похожи друг на друга своей беспомощностью, — а тем, как упрямо цеплялся за жизнь. Только мой мальчик уже отпустил, а этот еще держался.

Тогда мне показалось, что это не преступление, а ответ. Будто Бог отнял одной рукой и тут же протянул другой замену, проверяя, хватит ли у меня смелости ее принять. Я поменял свертки. Мертвого сына положил в колыбель чужой женщины, а чужого принес жене.

Лариса проснулась, увидела, как ребенок шевелится у меня на руках, и закричала от счастья. Упала передо мной на колени, целовала мои пальцы, рубашку, ступни, называла спасителем. Никогда прежде она не смотрела на меня так — словно я был выше икон, выше самого Бога, потому что вернул ей сына.

А за стеной через несколько часов закричала Ольга.

Я слышал каждое слово. Как она требовала принести Вадима, как называла всех лжецами, как обещала вырвать Мире сердце. Потом ей показали мертвого Егора, и человеческий голос закончился. Остался вой, от которого гасли свечи внутри меня. Лариса в это время кормила ее сына и шептала, что чудо наконец произошло.

Чудо действительно произошло. Просто для него потребовалось распять другую мать.

— Дай подержать.

Лариса мгновенно прижала младенца к себе. Взгляд стал настороженным.

— Зачем?

— Я его отец.

Слова застряли между нами. Ребенок снова нашел грудь, а я смотрел на маленький кулачок, лежащий возле соска, и понимал, насколько гнусно прозвучало «отец» из моего рта.

— Ты боишься его, — тихо сказала жена.

— Не говори глупости.

— Боишься. С того дня ни разу не взял на руки. Только издалека смотришь. Ночью просыпаюсь, а ты стоишь у колыбели и крестишься. Будто там не младенец, а нечистая сила.

Я опустил глаза. Лариса иногда казалась безумной, но видела то, мимо чего проходили разумные.

— Я боялся, что он снова перестанет дышать.

— Он не перестанет. Я не позволю.

— Ты не Бог.

— А ты не отец Даниил, чтобы говорить со мной его словами.

Я невольно усмехнулся. Вот за это и любил. Тихая, хрупкая, с тонкими запястьями и лицом святой на старой иконе, а язык могла вогнать под ребро не хуже ножа.

— Дай мне мальчика, Лара.

— Сначала скажи, что с тобой.

— Ничего.

— Тогда не дам.

Она отвернулась, прикрывая грудь волосами, и меня обожгло стыдом. Собственная жена защищала украденного ребенка от меня, не зная, что единственная опасность в этой комнате — мужчина, которого она любила.

Я опустил перед ней на колени.

— Я принес болезнь на одежде, — выдавил я. — Это я убил нашего сына.

Улыбка медленно исчезла с ее лица.

— Не смей.

— Я был у больных, вернулся, не переоделся. Взял Егора. После этого появилась сыпь.

— Не смей говорить, что он умер.

— Лара...

Она ударила меня свободной рукой. Ладонь обожгла щеку, голова дернулась. Ребенок испугался резкого движения и закричал.

— Видишь, что ты сделал! — Лариса вскочила, прижимая малыша к голой груди. — Напугал его! Опять хочешь накликать беду! Ты всегда завидовал, что он любит меня сильнее!

— Я не завидовал.

— Завидовал! Смотрел, как я кормлю, и злился. Хотел, чтобы я снова принадлежала только тебе. А теперь он выздоровел, и ты не можешь радоваться!

Каждое слово было неправдой. Каждое попадало точно в цель.

Я действительно ревновал ее к сыну. Стыдился этого, ненавидел себя, лежал ночами рядом и слушал, как она шепчет малышу нежные слова, которых больше не оставалось для меня. Иногда касался ее бедра под одеялом, а она убирала руку и просила не мешать ребенку. Я обижался, отворачивался к стене и не понимал, что однажды отдал бы все на свете, лишь бы снова услышать этот отказ.

Теперь передо мной стояла женщина, которую я вернул себе чужим младенцем.

— Прости, — прошептал я.

Лариса качала ребенка и плакала вместе с ним. Слезы стекали по ее щекам, падали на маленькое лицо. Он кричал все громче, захлебываясь, и этот крик ударялся о стены кельи, вылетал в коридор, полз к запертой комнате Ольги.

Я представил, как она слышит.

Как вскакивает с постели. Как ее налитая молоком грудь болезненно отзывается на плач собственного сына. Тело узнает его раньше разума. Молоко течет сквозь ткань, пока она бежит по коридору, а потом упирается в закрытую дверь, за которой другая женщина кормит ее ребенка.

Меня вывернуло до мурашек вдоль позвоночника. Кровь отхлынула от лица, во рту стало сухо, будто я наглотался могильной земли.

— Он должен замолчать.

Лариса отшатнулась.

— Что?

— Успокой его. Пожалуйста.

— Ты сказал это так...

— Как?

— Как твой брат.

Я зажмурился. Хуже она сказать не могла.

— Я никогда не стану таким, как Даниил.

— Тогда возьми сына.

Она протянула мне мальчика. Я не успел отступить. Теплое, живое тельце оказалось в моих руках, головка легла на сгиб локтя, кулачок ткнулся в грудь. Он пах молоком, кожей и чем-то сладким, от чего внутри меня все оборвалось.

Наш Егор пах лекарством и болезнью.

Этот пах жизнью.

Я смотрел на него и ненавидел. За то, что дышит вместо моего сына. За то, что вернул улыбку Ларисе. За то, что его мать была возле чужой могилы. За то, что через несколько минут я уже был готов перегрызть глотку любому, кто попытался бы забрать его из моих рук.

— Здравствуй, — сказал я.

Мальчик перестал кричать и открыл глаза. Темные. Пока у всех младенцев глаза кажутся темными, говорил врач, потом цвет изменится. А я увидел в них бирюзу его матери и тут же проклял себя за это.

— Егорушка узнал папу, — Лариса улыбнулась сквозь слезы.

Я коснулся пальцем крошечной щеки. Ребенок повернул голову, поймал мой палец губами и начал сосать. Сердце сжалось так страшно, что перед глазами поплыли черные пятна.

— Не надо, — прошептал я.

— Что не надо?

— Любить меня.

— Он уже любит.

Нет. Он просто был голоден. Дети любят любого, кто дает им тепло, пока не вырастают и не узнают, кто отнял у них настоящее имя.

За дверью слышались шаги. Я сразу узнал тяжелую поступь брата. Даже в детстве Даниил ходил так, будто земля должна благодарить его за каждое прикосновение сапога.

Я сунул мальчика Ларисе.

— Запри дверь.

— Почему?

— Сделай, что говорю.

Не успела. Дверь распахнулась, ударила о стену, и в комнату вошел отец Даниил. В дорогой черной рясе, с массивным золотым крестом на груди и перстнями на пальцах. От него пахло ладаном, морозом и тем приторным маслом, которым он смазывал волосы. Он окинул взглядом Ларису, ее открытую грудь и недовольно поджал губы.

— Прикройся. Не в хлеву.

Лариса натянула рубашку, продолжая держать ребенка.

— Она кормит сына, — сказал я.

— Я вижу, чем занимается твоя жена. Половина Храма тоже слышит.

— Дети плачут.

— Этот особенно громко.

Даниил подошел ближе. Я встал между ним и постелью.

— Чего тебе?

— Уже нельзя навестить племянника?

— Раньше не хотелось.

— Раньше он умирал. Не люблю смотреть на бессмысленные мучения.

У меня дернулась рука. Я спрятал кулак в складках рясы.

— А теперь?

— Теперь произошло чудо. Мне стало интересно, как ребенок, которого врач признал безнадежным, за одну ночь избавился от сыпи, начал есть и прибавлять в весе.

Лариса вскинула подбородок.

— Мои молитвы спасли.

— Несомненно. Господь особенно внимателен к тем, кто кричит громче остальных.

— Не издевайся над ней, — предупредил я.

Даниил улыбнулся. Его улыбки я боялся с детства. Перед тем как ударить, он всегда становился ласковым.

— Покажи мне мальчика, Тихон.

— Он спит.

— Только что орал так, что и мертвые проснулись.

— Уходи.

— Это мой Храм.

— А это моя семья.

На несколько мгновений мы замерли друг напротив друга. Я — сутулый, бледный, в поношенной рясе, с лицом, которое Лариса называла добрым, а брат — слабым. Даниил — тяжелый, ухоженный, уверенный, сверкающий золотом, словно сам себя уже назначил наместником Бога. Всю жизнь я отступал первым.

Сегодня не отступил.

Он положил ладонь мне на плечо и сжал.

— Не заставляй меня думать, что ты что-то скрываешь.

— Тогда не думай. У тебя плохо получается.

Слова вылетели сами. У Ларисы расширились глаза. Даниил медленно убрал руку.

— Отдай ребенка.

— Нет.

— Это не просьба.

— А я не твой алтарник.

Он оттолкнул меня. Я врезался спиной в стол, миска упала и разбилась. Даниил шагнул к Ларисе, та закричала и отвернулась, закрывая младенца телом. Я бросился вперед, но брат ударил локтем в грудь. Воздух вышибло из легких. Я рухнул на колени, хватая ртом пустоту.

— Не трогай его! — Лариса забилась в угол. — Тихон! Не отдавай ему Егорушку!

Даниил схватил ее за запястье и вывернул руку. Она вскрикнула. Ребенок снова заплакал.

— Дай сюда. Я не причиню ему вреда.

— Ты хотел его смерти, — прохрипел я, поднимаясь. — Ты сказал придушить ребенка той женщины. Для тебя младенцы только мешают, пока не становятся полезными.

Брат замер.

— Какой женщины?

Я понял, что проговорился.

В комнате стало тихо, если не считать плача. Даниил повернул ко мне голову, и в его глазах медленно зажегся холодный интерес.

— Ты о красноволосой шлюхе?

— Она больна.

— Ее младенец умер.

— Я знаю.

— Откуда?

— Все знают.

— Все знают то, что им позволили знать.

Он внезапно разжал пальцы Ларисы и даже помог ей поправить рукав. От этой перемены стало страшнее. Даниил больше не злился. Он считал.

— Покажи ребенка, — повторил он мягко.

Лариса прижала мальчика к груди.

— Нет.

— Я благословлю племянника.

— Вы уже благословили его на смерть.

Я почти гордился ею. Почти — потому что страх жрал гордость вместе с мясом.

Даниил вздохнул, будто имел дело с капризными детьми, и протянул руки. Мальчик дернулся, ткань сползла с плеча. В свете свечи за левым ушком проступило маленькое красное пятно, похожее на полумесяц.

Брат перестал дышать.

Всего на секунду. Но я знал его слишком долго.

— Что это? — спросил он.

— Родимое пятно, — быстро ответила Лариса. — Было с рождения.

— Не было.

Слово упало на пол тяжелее разбитой миски.

Лариса посмотрела на меня.

— Было ведь, Тиша?

Я открыл рот. Язык прилип к небу.

Даниил наклонился ближе, рассматривая отметину. Потом медленно улыбнулся.

— Утром служанка Лебединской описывала такое же пятно у ее умершего мальчика.

Просила написать о нем на бумаге, чтобы не забыть ни одной черточки.

Мои колени задрожали.

Брат поднял на меня глаза.

В этот момент я снова услышал Ольгу. Не за дверью — внутри собственной головы. Ее вой возле гроба, треск ногтей о мерзлую землю, тихую колыбельную над чужим телом. И одновременно чувствовал теплое дыхание ее сына на своей руке. Две правды разрывали меня пополам: если признаюсь, потеряю Ларису; если продолжу молчать, окончательно убью женщину, у которой уже отнял жизнь. На лбу выступил холодный пот. Я хотел солгать, но язык снова начал спотыкаться еще до первого слова.

— Скажи мне, Тихон, — произнес он почти ласково, — какое именно чудо ты совершил этой ночью?

Глава 4

— Вадим?.. Сынок, это мама.

Тишина за дверью не просто наступила — она рухнула на меня всем весом, придавила к холодному дереву так, что стало нечем дышать. Еще секунду назад я слышала плач. Настоящий. Тонкий, надорванный, голодный. Так плачут младенцы, когда им страшно и никто не берет их на руки. Так плакал мой сын в единственную ночь, которую ему позволили провести рядом со мной. Я помнила этот звук лучше собственного имени, потому что он навсегда застрял под ребрами ржавым крючком и теперь дернулся, разрывая зажившую ложь.

Я забарабанила кулаками по двери.

— Откройте! Немедленно откройте!

— Там никого нет, — повторил охранник за моей спиной, но голос его дрогнул, и этого крошечного надлома хватило, чтобы во мне умер последний остаток покорности.

Я обернулась. Высокий, широкоплечий, с бритым затылком и каменным лицом, он смотрел не на меня, а куда-то поверх моего плеча. Люди, говорящие правду, не боятся глаз женщины, похоронившей ребенка. Лжецы боятся. Они знают: у такой женщины уже нечего отнять, кроме рассудка, а значит, она способна вцепиться зубами в горло самому Богу, если он встанет между ней и ее младенцем.

— Ты слышал его.

— Вам показалось.

— Тогда открой дверь и докажи.

Он стиснул челюсти. На поясе у него висела связка ключей, и я бросилась к ней раньше, чем успела подумать. Металл звякнул под пальцами, охранник выругался, схватил меня поперек талии и оторвал от пола. Боль прострелила живот, еще не оправившийся после родов, между ног вспыхнуло тупое, постыдное жжение, но я не закричала — зарычала, выворачиваясь в его руках, царапая кожу, ударяя затылком в подбородок.

— Пусти меня, скотина! Там мой ребенок!

— Успокойтесь!

— Я успокоилась на кладбище! — меня трясло так, что слова бились друг о друга, как осколки стекла. — Я была очень спокойной, когда мне показали маленький гроб. Очень послушной, когда запретили открыть крышку. А теперь открой эту проклятую дверь!

За нею что-то тихо стукнуло. Не плач — движение, шаг, торопливый шорох ткани. Я замерла в руках охранника и услышала собственное сердце: оно колотилось о кости, требуя выбраться наружу и добраться до сына раньше меня.

— Там кто-то есть, — прошептала я. — Я слышу.

— Разумеется, слышишь.

Голос Даниила прошел по коридору мягко, почти ласково, и от этой ласки меня обдало холодом. Он стоял у арки, заслоняя собой свет, будто не вошел, а вытек из темноты. Черная ряса делала его грузным, золотой крест лежал на груди вызывающе ярко, а толстые пальцы с кольцами медленно перебирали четки. Только лицо было не таким, как раньше. Под привычной елейностью проступило напряжение; возле виска блестела капля пота, хотя в Храме было холодно.

— Отпусти ее, — приказал он охраннику. — Нельзя обращаться с больным человеком грубо.

Больным.

Это слово ударило сильнее рук. Охранник разжал объятия, и я едва не упала, но удержалась, прижав ладонь к стене. Перед Даниилом я не позволила бы себе согнуться, даже если бы позвоночник переломили пополам.

— Открой дверь.

— Ольга, за этой дверью хозяйственные комнаты.

— Тогда тебе нечего скрывать.

— Мне — нечего. А тебе стоит бояться того, что происходит в твоей голове.

Он подошел ближе. От него пахло ладаном, дорогим табаком и потом. Когда-то этот запах заставлял меня замирать от подросткового ужаса, потому что Даниил всегда появлялся бесшумно, всегда смотрел слишком долго, всегда умел превратить любое прикосновение в грязь, которую не смоешь водой. Теперь я смотрела на его ухоженное лицо и видела не служителя Бога — крысу, научившуюся носить крест, чтобы никто не заметил клыков.

— В моей голове плачет сын, которого вы похоронили без меня? — спросила я, и собственный голос показался чужим, иссушенным. — Удобное безумие, правда? Оно отвечает на все вопросы.

— Горе часто принимает знакомые голоса.

— А ложь часто носит рясу.

Его глаза потемнели. Всего на миг. Потом губы снова сложились в снисходительную улыбку.

— Ты всегда была неблагодарной.

— А ты всегда был трусом. Даже когда обжег пальцы о свечу, подглядывая за мной, соврал, что пострадал во время молитвы.

Он резко перехватил мои запястья. Кольца впились в кожу, ногти надавили на пульс. Охранник отвернулся, будто вдруг заинтересовался побелкой на стене. Вот так здесь и совершались преступления: один причинял боль, второй не видел, третий потом клялся перед иконой, что ничего не произошло.

— Следи за языком, — прошипел Даниил, приблизив лицо к моему. — Ты больше не в том положении, чтобы оскорблять людей, способных тебя защитить.

— От кого? От вас?

— От цыгана, который однажды тебя украл и присвоил, как вещь. Ты забыла, кем была рядом с ним?

Имя Ману он не произнес, но оно все равно вспыхнуло между нами, обожгло горло и заставило молоко болезненно налить грудь под черным платьем. Ненавистное предательство тела. Даже сейчас, после могилы, после крови, после мертвого сына, одного намека на мужчину, который сказал «моя» и не спросил, хочу ли я принадлежать ему, хватило, чтобы память ожила: черные глаза, тяжелая ладонь на затылке, голос, от которого дрожали колени, — не от слабости, а от ярости, слишком похожей на страсть.

— Я ничего не забыла, — выдохнула я. — Особенно то, как мужчины любят называть нас вещами, когда боятся услышать наш ответ.

— Твой ответ привел тебя к могиле.

Я ударила его. Ладонь обожгло, голова Даниила дернулась в сторону, золотой крест качнулся на груди. В коридоре стало так тихо, что я услышала, как он провел языком по внутренней стороне рассеченной губы.

— Открой дверь, — повторила я. — Или я подниму такой крик, что сюда сбежится весь Храм.

— Кричи. Люди увидят обезумевшую роженицу, которая ищет мертвого младенца в кладовой. Думаешь, это поможет тебе сохранить дочь?

Мир качнулся.

— Не смей говорить о Мире.

— Почему? Она твоя единственная живая связь с реальностью. Стоит врачам решить, что ты опасна для себя и для нее... — он сделал паузу, наслаждаясь тем, как меняется мое лицо, — девочку отдадут тем, кто способен о ней позаботиться.

Я хотела снова ударить его, но пальцы не слушались. Он нашел единственный нож, способный вскрыть меня без крови. Не сын. Мира. Моя маленькая темноволосая девочка, которая ночью прижималась щекой к моему плечу и спрашивала, почему папа не пришел нас спасать. Если они отнимут ее, во мне не останется ничего человеческого.

— Где она?

— В своей комнате.

— Я хочу ее видеть.

— Увидишь, когда успокоишься.

— Сейчас.

— Сначала поговоришь с доктором.

Словно ждал за углом, из арки вышел худой мужчина в сером костюме. У него были бесцветные глаза и маленький кожаный саквояж. Он представился Александром Сергеевичем, но

я сразу поняла: настоящего врача здесь было не больше, чем настоящего священника в Данииле. Он не спросил, где болит. Не осмотрел швы, не измерил температуру, не поинтересовался кровотечением. Он смотрел на меня так, как торговец смотрит на лошадь перед покупкой, оценивая, насколько сильно она будет брыкаться.

— Ольга Андреевна, вы пережили тяжелейшую потерю, — произнес он заученно. — Слуховые иллюзии после родов встречаются часто.

— Ребенок заплакал за дверью.

— Вы ожидали его услышать.

— Я не ожидала. Я шла по коридору.

— Именно так работает травма. Мозг подменяет действительность тем, чего вы отчаянно желаете.

Я посмотрела на дверь. Молчаливая, тяжелая, с темной полосой у порога. Может ли мозг создать плач настолько настоящий, что грудь отзывается болью? Может ли материнское тело сойти с ума раньше разума? Молоко просочилось сквозь ткань, оставляя влажные пятна, и унижение накрыло меня горячей волной. Даниил заметил. Его взгляд опустился, задержался, сделался липким. Я скрестила руки на груди, ненавидя себя за слабость, его — за удовольствие, с которым он ее рассматривал, и весь мир — за то, что женское горе всегда проступает наружу кровью, молоком, дрожью, тогда как мужчинам достаточно надеть чистую рубашку, чтобы казаться невинными.

— Вы слышите его сейчас? — спросил доктор.

Я прислушалась до боли в висках.

Ничего.

— Нет.

— Вот видите.

— Я видела и маленький гроб. Это тоже была иллюзия?

Доктор бросил быстрый взгляд на Даниила. Такой быстрый, что его можно было не заметить, если бы меня не научили выживать среди мужчин, которые договариваются глазами.

— Вам нужно поспать.

— Мне нужно увидеть Миру и позвонить отцу.

— Телефон пока останется у нас, — мягко сказал Даниил. — Ты слишком возбуждена.

— Вы украли мои документы.

— Сберегли. В твоём состоянии легко потерять важные вещи.

— А дочь вы тоже сберегаете от меня?

Он улыбнулся, и эта улыбка была хуже пощечины.

— Пока ты ведешь себя разумно, тебе нечего бояться.

— Тогда ответь разумно хотя бы на один вопрос. Кто осматривал моего сына после смерти?

Улыбка не исчезла, но застыла, словно ее прибили к лицу.

— Ты находилась в горячке.

— Я спросила не о себе. Кто констатировал смерть?

— Повитуха.

— Как ее зовут?

— Не помню.

— Ты распоряжался похоронами ребенка, но не помнишь имени женщины, объявившей его мертвым? — Я говорила медленно, цепляясь за каждое слово, потому что впервые сквозь туман горя проступала не надежда даже, а страшная, режущая ясность. — Почему мне не позволили увидеть его? Почему гроб был закрыт? Кто его нес? Где запись о смерти?

Доктор кашлянул и принялся протирать очки, хотя стекла были чистыми. Охранник у двери переступил с ноги на ногу. Только Даниил не отвел взгляда.

— Убитая горем мать пытается найти виноватых, — сказал он. — Это естественный этап принятия.

— Какая удобная у меня болезнь. Задаю вопрос — это отрицание. Требую доказательства — истерика. Слышу ребенка — безумие. А если найду его за этой дверью, вы скажете, что он мне привиделся на руках?

— Ты не найдешь там сына.

— Потому что он умер?

— Потому что мертвые не возвращаются.

Он ответил слишком быстро и все же не произнес главного: «Да, твой сын умер». Слова ходили вокруг правды, как волки вокруг огня, не решаясь приблизиться. Я посмотрела на его пальцы. Правой рукой он перебирал четки, а большой палец левой снова и снова тер кольцо. Так он делал, когда лгал отцу о пожертвованиях; я видела это много лет назад за праздничным столом и тогда не придавала значения. Тело помнит грех лучше души.

— Открой гроб, — сказала я.

Даниил побледнел.

— Что?

— Завтра. При свидетелях. Я хочу увидеть ребенка, которого похоронила.

— Это кощунство.

— Нет. Кощунство — прятать ложь за именем Бога.

Он отпустил четки. Они ударились о крест, коротко звякнув, и в этом звуке я услышала ответ яснее любого признания. Даниил боялся не моего безумия. Он боялся моей памяти, вопросов и могилы, которую можно раскопать.

Доктор приблизился, стараясь говорить успокаивающе:

— Подобная фиксация опасна. Вам кажется, будто сомнения облегчат боль, но они лишь усугубляют состояние. Позвольте организму восстановиться.

— Моему организму? — я расцепила руки, и влажные пятна на груди стали видны всем. Пусть смотрят. Пусть подавятся моим унижением. — Он не знает, что ребенок умер. Он продолжает кормить сына, которого вы у меня забрали. Объясните ему своим ученым голосом, что это всего лишь этап принятия.

Мужчина покраснел и отвел глаза. Даниил — нет. Он смотрел жадно, и от этого взгляда кожа покрылась мурашками, будто по мне ползли насекомые.

— Прикройся, — бросил он.

— Почему? Разве болезнь умеет стыдиться? Или тебе неприятно видеть последствия ваших решений?

— Мне неприятно видеть, во что ты превратилась.

— А мне — во что ты никогда не превращался, потому что человеком не был.

Я поняла: дверь они не откроют. Не потому, что за ней обязательно находился мой сын. Возможно, доктор прав и плач родился в моей голове, истерзанной пустой колыбелью. Но даже если там были только ведра и тряпки, Даниил уже получил то, чего хотел: увидел мой страх за Миру и сделал из него поводок.

— Хорошо, — сказала я, опуская глаза.

Он поверил. Самодовольство расслабило его плечи.

— Умница.

— Я пойду к дочери.

— После лекарства.

Доктор достал из саквояжа ампулу и шприц. Стекло тихо шелкнуло. От этого звука внутри меня все сжалось. Я отступила.

— Таблетку.

— Инъекция подействует быстрее.

— Я сказала — таблетку.

— А я сказал, что тебе помогут, — вмешался Даниил.

Охранник шагнул вперед. Еще один появился у арки. Я оказалась между тремя мужчинами, и каждый называл насилие заботой. Это было самое страшное: не сила их рук, не игла, блеснувшая в пальцах врача, а спокойная уверенность, что после они смогут рассказать миру правильную версию. Ольга кричала. Ольга потеряла ребенка. Ольге мерещилось. Ольга нуждалась в лечении. А то, что она билась, царапалась и умоляла не трогать ее, станет доказательством болезни.

Я рванулась к лестнице.

Меня поймали почти сразу. Охранник заломил руку за спину, второй прижал к стене. Щекой я ударилась о холодную штукатурку, во рту появился вкус крови. Платье задралось выше колен, волосы рассыпались по лицу, закрывая их, как последняя жалкая защита. Я услышала смешок Даниила и дернулась так яростно, что плечо обожгло болью.

— Не смотри на меня! — закричала я. — Не смей, ублюдок!

— Держите крепче. Она опасна.

— Я мать! Я хочу к своему ребенку!

— К какому именно, Ольга? — спросил он почти нежно. — К живому или к тому, которого ты придумала за дверью?

Игла вошла в бедро сквозь ткань. Я вскрикнула и пнула назад, попав кому-то по ноге. Ругательство, тяжелое дыхание, пальцы на шее — все смешалось. Лекарство разлилось по телу ледяной тяжестью. Стены начали дышать, лики святых поплыли в золоте, а лицо Даниила осталось четким, будто ад предусмотрительно сохранял очертания своего хозяина.

— Мира... — язык стал огромным, неповоротливым. — Приведи ее.

— Конечно.

— Поклянись.

— Перед Богом.

Я рассмеялась. Смех вышел сломанным, мокрым от слез.

— Ты и Бога... запер бы... если бы он заплакал не вовремя.

Ноги подломились. Меня подхватили, понесли по коридору. Запертая дверь проплыла мимо, и в тот миг, когда сознание уже проваливалось в черноту, оттуда донесся звук. Не плач. Тихое, убаюкивающее женское пение.

Я не сошла с ума.

Эта мысль стала последней спичкой в темноте.

Очнулась я от холода. Комната была черной, только лунный свет лежал на полу узкой полосой, похожей на лезвие. Голова раскалывалась, язык прилип к небу, руки и ноги казались чужими. Я лежала поверх покрывала в том же платье, задранным и испачканном у колена. На запястьях темнели синяки, на внутренней стороне бедра горело место укола. Несколько секунд я не могла вспомнить, где нахожусь, а потом память вернулась вся сразу — плач, дверь, Даниил, игла.

— Мира.

Я села слишком резко, и комнату повело. Рядом пустовала маленькая кровать дочери. Одеядо было аккуратно расправлено, подушка холодная. Ее красный свитер исчез со спинки стула. Исчезли ботинки. На тумбочке не было ни моей сумки, ни документов, ни телефона. Я открыла шкаф: пусто с той стороны, где висели вещи Миры.

— Мира!

Я бросилась к двери. Заперто.

— Откройте! Где моя дочь?!

Никто не ответил. Я ударила кулаком, потом плечом, снова кулаком, пока костяшки не лопнули. Кровь размазалась по дереву. За окном ветер гнул черные ветви, внизу темнел двор

Храма, у ворот двигались мужские фигуры. Я прижалась лбом к стеклу, пытаюсь различить среди них маленькую девочку.

И тогда ночь разорвал первый выстрел.

Следом второй — ближе, громче. Во дворе закричали, вспыхнули фары, люди метнулись к стенам. Я отшатнулась от окна, а из темноты за воротами донесся рев моторов — тяжелый, нарастающий, знакомый до дрожи в костях.

Ману приехал за своим.

Глава 5

Первый выстрел ударил в небо.

Не в человека — пока нет. Я дал им последнее предупреждение, хотя внутри меня уже не осталось ничего человеческого, способного предупреждать. За черными стенами Храма держали мою женщину, там же мне соврали о смерти сына, и каждая секунда перед закрытыми воротами выворачивала ребра наружу, словно кто-то засунул руку мне в грудь и медленно проворачивал кулак.

— Открывай! — крикнул Савелий, вскинув автомат. — Баро пришел!

Над воротами показался охранник. Белое лицо, дрожащие губы, винтовка в руках. Слишком молодой, чтобы умирать, и достаточно взрослый, чтобы понимать, на кого ее направил.

— Территория Храма закрыта! Уходите, иначе мы откроем огонь!

Я посмотрел на него снизу и усмехнулся. Получилось плохо. В последние дни любое движение губ напоминало оскал мертвеца, который еще не понял, зачем продолжает ходить.

— Ты уже открыл рот, мальчик. Этого достаточно, чтобы я счел войну объявленной.

Он дернул ствол. Второй выстрел разнес фонарь возле его головы. Стекло брызнуло на камень, парень пригнулся, а мои люди загудели за спиной. Ромалэ стояли плотной стеной: черные куртки, темно-синяя краска на скулах, серебро на шеях, кровь Огнево в венах. Так наши мужчины выходили не пугать — мстить. Старики говорили, что синий цвет не позволяет смерти узнать лицо цыгана и забрать его раньше срока. Я никогда не верил в сказки, но сегодня сам провел полосы по лицу. Если смерть явилась за мной, пусть сначала назовет мое имя правильно.

— Ману, — тихо произнес Савелий. — Дай слово.

Я поднял руку.

Таран ударил в ворота. Железо взвыло, цепь натянулась, каменные столбы содрогнулись. Второй удар вырвал петлю вместе с куском кладки. После третьего створки рухнули внутрь, подняв облако пыли, и мой табор вошел в Храм, как входит огонь в сухой дом: быстро, жадно, не спрашивая разрешения у стен.

Сверху открыли огонь.

Пуля прошла возле уха, другая ударила в капот. Савелий повалил меня за машину, и я с такой яростью отшвырнул его руку, будто он оскорбил меня спасением.

— Еще раз тронешь — сломаю.

— Сначала найди свою рыжую, потом ломай что хочешь, — огрызнулся он. — Мертвый баро ей на хер не нужен.

— Живой тоже оказался не нужен.

— Врешь. Если бы не был нужен, ты бы сейчас не дрожал.

Я не дрожал. Меня колотило изнутри так, что зубы хотелось стиснуть до крошки. Я видел перед собой маленький холм мерзлой земли и крест с именем Вадима. Моего сына. Мальчика, о существовании которого я узнал слишком поздно. Сначала Ольга отняла у меня право ждать его рождения, потом эти святые ублюдки отняли даже тело. Я собирался выяснить, кто из них приложил руку, а потом отрубить каждую по отдельности.

— Правый корпус мой, — приказал я. — Савелий, бери людей и режь путь к колокольне. Без моего слова никого не убивать. Даниил мой.

— А если он будет стрелять?

— Стреляй в ноги. Я хочу, чтобы он долго объяснял Богу, за что кричит.

Мы двинулись через двор. Охрана Храма сдавалась быстро. За рясами и иконами прятались обычные наемники, а у обычных наемников всегда есть цена и предел, после которого деньги перестают греть мертвое тело. Двое бросили оружие, третий попытался пробежать к боковой двери. Дани сбил его прикладом.

— Где Лебединская? — спросил я, придавив мужчине горло сапогом.

— Не знаю.

Я сильнее надавил.

— Неправильный ответ.

— Второй этаж... женское крыло... клянусь!

— Цыгану клянешься? Смело. У нас за ложную клятву язык вырезают.

— Она там! Рыжая! Ее заперли!

Я убрал ногу и побежал. За спиной гремели выстрелы, кто-то кричал, звонил колокол — бессвязно, бешено, будто сам Храм звал на помощь небеса. Пусть зовет. Сегодня даже Бог не встал бы у меня на дороге, если не хотел узнать, как далеко способен зайти отец, которому показали могилу сына.

Внутри пахло ладаном, лекарствами и страхом. Люди жались к стенам. Женщина в сером платке перекрестилась, увидев мои щеки, и прошептала: «Нечистый». Я остановился так резко, что идущий следом Дани врезался мне в плечо.

— Где Ольга?

— Господи, спаси...

— Он занят. Отвечай мне.

Она указала наверх трясущейся рукой. Я перескакивал через три ступени, и сердце било по горлу, мешая дышать. За каждой дверью мне мерещилось ее лицо — белая кожа, невозможные бирюзовые глаза, огненные волосы, которые я наматывал на кулак, заставляя смотреть на меня. Моя. Украденная, присвоенная без ее согласия, выжженная на внутренней стороне костей так глубоко, что вырвать можно только вместе со скелетом.

Пусть ненавидит. Пусть плюет в лицо, царапает и снова попытается убить. Только пусть будет жива.

Коридор оказался пуст. У дальней арки лежал охранник, держась за простреленное плечо. Я схватил его за ворот и поднял.

— Комната Лебединской.

— Дальше... последняя слева.

— Где ребенок?

Его глаза метнулись к темной двери справа.

Я заметил.

— Какой ребенок? — выдавил он.

Ударил один раз. Не сильно — ровно настолько, чтобы нос хрустнул и человек понял: дальше я буду задавать вопросы его костям.

— Мой.

— Он умер.

Я ударил снова.

— Где тело?

— На кладбище!

— Я был на кладбище. Теперь спрашиваю, почему ты посмотрел на эту дверь.

Он замотал головой, захлебываясь кровью. Из-за темного дерева не доносилось ни звука. Замок был новым, массивным, ключа в связке охранника не оказалось. Я выстрелил дважды. Металл разлетелся, дверь распахнулась от удара сапога.

Комната была пуста.

Не кладовая. Маленькая постель, таз с водой, смятые пеленки, бутылочка на тумбе. В воздухе стоял теплый, сладковатый запах молока и младенческой кожи. Я вошел медленно, словно под ногами были не доски, а тонкий лед. Коснулся пеленки. Еще влажная.

— Здесь был ребенок.

Дани заглянул через плечо и выругался.

— Недавно. Унести далеко не успели.

На белой ткани темнел короткий рыжий волос. Не младенческий — женский. Я зажал его между пальцами, и позвоночник прошило таким холодом, что перед глазами потемнело.

— Ольга была здесь?

— Нет, — простонал охранник из коридора. — Она только слышала плач. Ее не пустили. Я медленно повернулся.

— Чей плач?

— Не знаю.

— Ты сегодня очень хочешь остаться без языка.

— Тихон принес младенца! Его жена кормила! Клянусь, больше ничего не знаю! Отец Даниил приказал вывезти их после того, как рыжая подняла шум.

Тихон.

Имя легло на память занозой. Монах, сопровождавший Ольгу. Человек, который хоронил ее сына. Я шагнул к охраннику, но Дани встал между нами.

— Куда вывезли?

— Через северные ворота. У них старая синяя машина. Я не знаю куда.

— Время.

— Минут двадцать... может, меньше.

Я свистнул. Коротко, два раза. Из нижнего коридора отозвались, и через несколько секунд появился Гриша — седой ром с золотой серьгой, который служил еще моему отцу и понимал приказы раньше, чем их договаривали.

— Синяя машина, северная дорога. Тихон, женщина и младенец. Возьмешь шестерых.

— Живыми?

Я посмотрел на пеленки. Влажное пятно, маленькая вмятина на подушке, запах ребенка, от которого у меня сводило челюсть. Где-то на зимней дороге сейчас увозили чужого младенца, и почему-то вся моя кровь выла, требуя гнаться следом. Разум говорил, что это может быть ловушка. Что сын мертв. Что надежда — самая грязная разновидность пытки: сначала воскрешает, потом заставляет похоронить второй раз.

— Всех живыми, — сказал я. — Если на ребенке будет хоть царапина, спрос будет с каждого.

Гриша приложил кулак к сердцу.

— Как велишь, баро.

— И не пугайте женщину. Она при младенце.

Он вскинул бровь. Мои люди привыкли слышать приказы ломать двери, отнимать оружие и возвращать долги. Просьба не пугать женщину звучала из моих уст почти неприлично.

— Что смотришь?

— Думаю, не подменили ли нашего баро, — спокойно ответил он. — Но глаза больно бешеные. Значит, свой.

— Уйди, пока я не помог тебе перестать думать.

Он усмехнулся и исчез. Через двор почти сразу пронесся рев моторов. Шесть ромалэ отправились за неизвестным ребенком, потому что я произнес слово, и в этом была вся тяжесть баронства: сотни мужчин признавали мою власть, а я не сумел защитить одну женщину и одного сына.

Охранник сполз по стене. Я присел перед ним и вытер его кровь большим пальцем, оставляя красную полосу на щеке рядом с белой кожей.

— Посмотри на меня. Ты видел младенца?

— Издалека.

— Возраст?

— Совсем маленький. Недели... не знаю.

— Волосы, глаза, приметы.

— Он был завернут. Только жена монаха держала его и никому не давала.

— А Даниил зачем приходил?

— Увидел что-то за ухом ребенка. Потом будто взбесился. Велел молчать и готовить машину.

За ухом.

Ольга однажды, еще беременная, положила мою ладонь себе на живот и сказала, что у Лебединских дети рождаются с красным полумесяцем возле левого уха. Тогда я рассмеялся, назвал их всех мечеными дьяволами и пообещал проверить сына сам. Я не проверил. Не был рядом. А теперь эта забытая фраза поднялась из памяти и сомкнулась вокруг горла.

— Какое ухо?

— Левое, кажется.

Я поднялся. Мир стал ослепительно ясным и невыносимо хрупким. Мне хотелось назвать это совпадением, прежде чем надежда разорвет меня изнутри, но цыганская кровь не верила в совпадения. Старые женщины в Огнево говорили: если мертвый зовет тебя голосом живого, не закрывай уши — иногда судьба возвращает долг.

— Не сейчас. Сначала Ольга.

— Убери руку.

— Баро, посмотри на меня. Если она под лекарством, ей нужен врач, а не твоя месть. Найдем женщину, потом младенца, потом ты хоть весь Храм разбери на камни.

Я ненавидел его за правоту. Ненавидел каждого, кто вынуждал выбирать, кого спасти первым. Моя семья должна была находиться в одном доме, под моей рукой, а не быть разброшенной по чужим комнатам и могилам, словно после взрыва.

Я пошел к последней двери слева. Заперта. Изнутри раздался глухой удар, потом еще один.

— Откройте! Где моя дочь?!

Ее голос.

Я замер. Все звуки исчезли: выстрелы, колокол, топот людей. Осталась только Ольга за дверью, живая, обезумевшая от горя, и мое сердце, которое вдруг вспомнило, что умеет болеть.

— Отойди, рыжая.

Тишина.

— Ману?.. — так тихо, что я скорее прочел имя по движению собственной крови, чем услышал.

— От двери отойди. Сейчас войду.

— Нет.

Я прикрыл глаза. Вот она. Даже запертая, избитая и загнанная в угол, первым словом для меня выбрала отказ. Моя проклятая гордость едва не рассмеялась от облегчения.

— Не беси меня, Ольга.

— Там Мира. Они забрали ее. Найди дочь.

— Сначала вытащу тебя.

— Я сказала — Миру!

— А я сказал — тебя. Ты еще не поняла, кому принадлежишь?

— Поняла. Себе.

Я выстрелил в замок.

Дверь распахнулась, ударившись о стену. Ольга стояла у окна босая, в черном платье, с растрепанными огненными волосами, похожими на пламя после пожара. Худая до боли. Белая кожа почти просвечивала, на скуле наливался синяк, губа была разбита, на запястьях темнели следы пальцев. Ее глаза — те самые, бирюзовые, невозможные — казались огромными на измученном лице.

Красота ударила под дых. Не нежная, не беспомощная — страшная в своем разрушении. Так выглядит храм после осквернения: разбитый, залитый кровью, но все еще способный заставить грешника упасть на колени.

Она увидела синюю краску на моем лице, автомат в руке, кровь на одежде и отшатнулась. Всего на полшага, но я заметил. Меня будто протащили голым телом по битому стеклу. Раньше она боялась монстра во мне. Теперь смотрела так, словно я и был тем чудовищем, которое пришло добить ее после всех остальных.

— Где Мира? — спросила она.

Не «ты жив». Не «почему пришел». Даже не «сын умер». Только дочь.

— Мои люди ищут.

— Твои люди умеют только отнимать.

— Мои люди сейчас умирают во дворе, чтобы открыть твою дверь.

— Я не просила.

— Ты вообще никогда не просишь. Просто исчезаешь, врешь, уносишь моего ребенка, а потом ждешь, что я догадаюсь, где тебя хоронят.

Она вздрогнула, как от пощечины. Я понял, что сказал, но поздно. Ее лицо стало пустым.

— Не произноси о нем ни слова.

— Почему? Он был моим сыном.

— Был? — губы задрожали. — Для тебя он стал сыном возле могилы. А до нее был помехой, которой я должна была избавиться, чтобы твоя месть оставалась чистой.

— Я не знал.

— Потому что не захотел услышать!

Ее крик разрезал меня от горла до паха. Она схватила со стола стакан и швырнула. Я не уклонился. Стекло разбилось о плечо, вода стекла по куртке.

— Ты сказал, что убьешь моего ребенка! — Ольга двинулась ко мне, пошатываясь, но каждое слово било точно. — Я слышала тебя, Ману. Я носила его под сердцем и каждую ночь представляла, как ты вырвешь его у меня из рук. Я бежала не от тебя — от отца, который заранее ненавидел собственного сына!

— Я говорил в ярости.

— А я рожала в крови. Разницу чувствуешь?

Я схватил ее за плечи. Не чтобы причинить боль — чтобы удержать, потому что она качнулась, а вместе с ней накренился весь мир.

— Где он умер? Кто был рядом?

— Отпусти.

— Ответь.

— Ты опоздал.

Два слова. Всего два, а внутри меня что-то лопнуло с таким звуком, будто рухнул дом, в котором я собирался когда-нибудь жить. Я притянул ее ближе. От Ольги пахло холодом,

кровью, молоком и ладаном. Грудь под платьем была влажной, тело горело лихорадкой. Она ударила меня в грудь, потом еще раз, но я не отпустил.

— Ненавижу тебя, — прошептала она.

— Поздно. Я уже приехал.

— За чем? За своей вещью?

— За всем, что мое.

Она засмеялась, и этот смех оказался хуже плача.

— Твоего больше нет. Сын лежит в земле. Миру забрали. А я... — ее пальцы впились мне в куртку, не то отталкивая, не то удерживаясь, — я умерла там вместе с ним.

— Нет. Мертвая ты была бы послушной.

Ее глаза вспыхнули. На секунду я увидел прежнюю Ольгу — дикую, гордую, готовую вонзить мне нож под ребра. Потом веки дрогнули, зрачки поплыли.

— Что они тебе дали?

— Не знаю... укол...

Я подхватил ее прежде, чем колени коснулись пола. Она вскрикнула и начала вырываться, царапая мне шею.

— Не трогай! Не смей снова меня забирать!

— Уже забрал.

— Я не поеду с тобой.

— Поедешь.

— Ману, я тебя ненавижу!

— Ненавидь в моей машине. Здесь оставлять не стану.

Она ударила меня по лицу. Слабая пощечина, почти детская, но я почувствовал ее до костей. Потом Ольга обмякла, прижавшись лбом к моему плечу, и тихо застонала. Я держал женщину, которую когда-то украл и назвал своей, и впервые понимал: присвоить тело легко. Достаточно силы, людей и закрытой двери. Но ее боль не подчинялась мне. Она жила внутри Ольги отдельным зверем и могла сожрать нас обоих.

В коридоре появился Савелий.

— Миру нашли. Она внизу, жива. Даниил пытался вывезти ее через кухню.

Ольга дернулась у меня на руках.

— Отдай... мне...

— Принесут.

— А Даниил? — спросил я.

Савелий усмехнулся.

— Тоже жив. К сожалению для него.

— Хорошо.

Я понес Ольгу к лестнице. Люди расступались, увидев меня с рыжей женщиной на руках. Кто-то из старших ромалэ коснулся двумя пальцами лба, потом сердца — старый знак, которым встречали баро, вернувшего в табор украденную жену. Но Ольга не была возвращенной женой. Она была открытой раной, которую я прижал к себе, пачкаясь ее кровью и не понимая, как остановить собственную.

У арки Дани догнал нас, держа в руках документы.

— Нашел в кабинете Даниила. И вот это.

Он протянул мне больничный журнал. На раскрытой странице стояли две фамилии, два времени рождения и одна запись о смерти. Я прочел сначала один раз, потом второй. Буквы поплыли, но смысл вонзился в мозг раскаленным гвоздем.

«Егор Тихонов». Мертв.

Напротив имени Вадима графа была пустой.

Я посмотрел на темную дверь комнаты, где еще недавно лежал младенец, потом на рыжий волос, зажатый между моими пальцами.

Мой сын не был в могиле.

Глава 6

— Это не наш сын.

Я произнес эти слова за рулем, когда Храм уже исчез за черными деревьями, а в зеркале заднего вида вспыхнули первые фары погони. Сказал не тогда, когда должен был. Не в ту ночь, когда принес Вадима Ларисе и вложил чужого младенца ей в руки. Не утром, когда она плакала от счастья, целовала его крошечные пальцы и благодарила Бога за чудо. Я сказал правду сейчас — на скользкой дороге, под рев двигателя, когда моя жена прижимала ребенка к груди, а люди Ману Алмазова приближались к нам с каждой секундой.

Лариса не сразу поняла.

— Что?

Ее голос был тихим, почти спокойным. Именно это спокойствие напугало меня сильнее крика. Я стиснул руль, чувствуя, как холодный пот течет между лопаток.

— Малыш... его зовут Вадим.

— Его зовут Егор.

— Нет.

— Я его мать, Тихон. Я знаю имя своего сына.

Младенец завожился под шерстяным платком, открыл рот и заплакал. Лариса начала качать его, еще не сводя глаз с моего профиля. У нее было белое лицо, темные волосы выбились из-под шапки и прилипли к влажным щекам. Красота моей жены всегда была тихой, домашней, той, к которой привыкаешь, как к свету в окне. Сейчас этот свет погас, и в ее глазах медленно поднималось не понимание даже — ужас.

— Кто такой Вадим?

Я нажал на газ. Машину повело, задние колеса заскользили к обочине, но я выровнял ее. Фары за нами приблизились.

— Сын Ольги.

Лариса перестала качать ребенка.

— Какой Ольги?

— Рыжей женщины, которую я привез в Храм.

— Ее ребенок умер.

— Нет.

Это короткое слово разорвало салон. Лариса смотрела на меня так, будто мое лицо треснуло и из-под кожи показалось что-то гнилое, много лет притворявшееся человеком.

— Тогда чей младенец лежит в могиле?

В горле пересохло. Я пытался ответить, но язык не двигался. Можно украсть ребенка, поменять бирки, соврать священнику, жене и матери, но некоторые слова все равно не выходят наружу, потому что вместе с ними приходится выплюнуть собственную душу.

— Тихон, — прошептала Лариса. — Чей ребенок в земле?

— Наш.

Она ударила меня.

Машина рванулась вправо, я выкрутил руль и едва не влетел в сосну. Младенец закричал громче. Лариса прикрыла его телом, а потом снова замахнулась, но я перехватил ее запястье.

— Не сейчас!

— Ты похоронил моего сына?!

— Он умер до этого!

— А ты отдал его другой женщине! — ее крик стал нечеловеческим. Казалось, он содрал кожу со стен салона и теперь царапал меня изнутри. — Ты положил моего Егора ей на грудь, позволил ей оплакивать его, а мне принес живого ребенка и сказал, что Бог услышал мои молитвы!

— Ты лежала без сознания. Врач сказал, что если проснешься и увидишь его мертвым, твое сердце может не выдержать.

— И ты поверил врачу?

— Я видел, как ты угасала всю беременность. Как считала каждый его вдох, как перестала спать, потому что боялась не услышать следующий. Когда Егор умер, ты держала его так крепко, что мы не могли разжать тебе пальцы. Ты повторяла, что пойдешь за ним. Я знал: проснешься — сделаешь это.

— Поэтому ты вышел в коридор и выбрал мне другого?

Вопрос был произнесен почти шепотом. Я увидел ту ночь так ясно, будто она не закончилась. Тусклая лампа, два младенческих крика — один уже оборвавшийся, второй слабый, голодный. Ольга лежала в соседней комнате в горячке, не узнавая людей. Мира плакала над ней. Вадим бил крошечными пятками по пеленке и тянулся ртом к пустоте. А мой сын остывал у меня на руках, легкий, словно тело уже покинула не только жизнь, но и весь его вес.

— Я не выбирал, — сказал я. — Я сошел с ума.

— Нет. Безумцы не меняют бирки так аккуратно. Не договариваются с повитухой. Не закрывают гроб прежде, чем мать увидит лицо ребенка. Ты все продумал.

— Я думал только о том, чтобы ты открыла глаза.

— И увидела ложь.

— Увидела сына.

— Чужого сына!

— Он был один, Лара. Ольга умирала. В Храм ее не пускали. Младенец голодал. Я сказал себе, что спасаю двоих: его — от смерти, тебя — от самоубийства.

— А Ольгу от чего ты спасал? От материнства?

Я замолчал.

— Ответь! — Она ударила кулаком по панели. — Когда отдавал ей мертвого Егора, что ты сказал себе о ней?

— Что она не поймет.

— Потому что была без сознания?

— Потому что... — слова царапали горло, — потому что она все равно думала, что сын умирает.

Лариса отпрянула, словно я ударил ее.

— Значит, ты решил, что ей можно помочь поверить в худшее.

— Я не знал ее.

— Но украл у нее больше, чем у врага. Ты хоть раз видел, как она плакала?

Я вспомнил Ольгу у маленького гроба. Ее рыжие волосы на белой простыне, губы, прижатые к холодному лбу Егора, молоко, проступившее на платье. Вспомнил, как она просила оставить их вдвоем, а я вышел за дверь и слушал вой женщины, похоронившей чужого ребенка вместо собственного. Тогда я держался за стену обеими руками, потому что ноги не выдерживали тяжести содеянного. Но все равно не вернулся. Не признался. Отнес живого Вадима к Ларисе и позволил ее радости заглушить тот вой.

— Видел.

— И смог уйти?

— Да.

Она отвернулась к окну. Этот короткий честный ответ сделал то, чего не смогли оправдания: уничтожил во мне мужа, которым я себя считал.

— Я спасал тебя.

— От чего? От правды?

— От могилы, в которую ты собиралась лечь вместе с ним!

— Ты не спас меня, Тихон. Ты закопал меня живьем, только я об этом не знала.

Она выдернула руку и прижала младенца сильнее. Вадим захлебывался плачем, его маленькое лицо покраснело, кулачки выбрались из одеяла. Лариса машинально поцеловала его в лоб — и тут же застыла, будто собственная нежность стала предательством.

— Забери, — прошептала она.

Я посмотрел на нее.

— Что?

— Я сказала, забери его у меня.

— Я веду машину.

— Остановись. Забери. Сейчас же.

— За нами гонятся.

— Мне плевать! — Она вскрикнула так, что ребенок вздрогнул. И сразу зажала рот ладонью, испугавшись себя. Слезы потекли по ее лицу беззвучно, тяжело. — Господи... он пахнет моим молоком. Я целовала его. Называла сыном. Я просила у него прощения за то, что не сумела выносить... другого. Что ты со мной сделал?

Я не ответил. Любое оправдание звучало мерзостью рядом с ее слезами.

Сзади взревел мотор. Черная машина вышла на прямую, догоняя нас. В ее свете салон нашей старой развалюхи стал ослепительно ярким, будто мы ехали не по дороге, а по операционному столу, где мою ложь наконец вскрыли без наркоза.

— Пригнись, — приказал я.

— Кто это?

— Люди Алмазова.

— Его отец?

Я кивнул.

Лариса посмотрела на Вадима. В ее лице что-то изменилось. Ужас не исчез, но под ним возникло другое — звериное, материнское. То, что не спрашивает, чья кровь течет в ребенке, когда над ним нависает опасность.

— Они заберут его?

— Да.

— И что сделают с нами?

— Не знаю.

— Ты всегда все знаешь. Знал, кого хоронить. Знал, кого украсть. Решал за живых и мертвых, как маленький самозванный Бог. А теперь вдруг не знаешь?

— Можешь ненавидеть меня потом.

— Потом у меня уже ничего не останется.

Пуля разбила заднее стекло.

Лариса закричала и накрыла младенца собой. Осколки посыпались на сиденье, ледяной ветер ворвался внутрь. Я пригнулся, выкрутил руль и свернул на лесную дорогу. Машину подбросило на яме. Из-под капота донесся скрежет.

— Они стреляют по колесам, — сказал я. — Держись.

— Не смей говорить мне держаться! Я держалась, когда хоронила в себе каждую надежду. Держалась, когда врачи сказали, что ребенок не выживет. Держалась за этого мальчика, потому что ты заставил меня поверить в чудо. А теперь выясняется, что я держалась за чужое горе!

— Я видел тебя с Егором на руках. Ты не дышала, Лара. Ты уже уходила вслед за ним.

— И ты решил убить другую мать вместо меня?

Слова попали точно. Я сжал зубы, но боль все равно расползлась под ребрами.

— Я не думал о ней.

— Вот именно. Ты думал только о том, что принадлежит тебе. Какая разница, чье сердце вырвать, если мое продолжит биться?

Машина снова дернулась. Руль стал тяжелым. Пробито колесо. Я еще несколько сотен метров удерживал дорогу, потом нас развернуло. Капот ударился о дерево, Лариса вскрикнула, младенец завопил. Мир на секунду погас, а когда вернулся, во рту было полно крови.

— Лара?

Она не ответила.

Я повернулся. Жена была в сознании, но сидела неподвижно, обняв ребенка. На виске появилась тонкая красная полоска.

— Ты ранена?

— Не трогай меня.

— Дай посмотреть.

— Сначала ребенок.

Я потянулся к Вадиму. Лариса отшатнулась и закрыла его руками.

— Не смей!

— Ты сама просила забрать.

— Я передумала.

— Он не наш.

— Я знаю! — Она ударила ладонью по двери, и голос сорвался. — Знаю, слышишь? Каждая клетка знает. Но он плачет моим молоком, Тихон. Он засыпал на моем сердце. Он смотрел на меня, когда больше никого не видел. Как мне теперь вырвать его из себя? Где у женщины находится место, которое надо вырезать, чтобы она перестала быть матерью?

Я замер. В этом и заключалось мое настоящее преступление. Я не просто украл Вадима у Ольги. Я заставил Ларису родить его любовью, и теперь возвращение ребенка настоящей матери должно было убить мою жену второй раз.

Фары остановились позади. Хлопнули двери. Мужские голоса разнеслись по лесу.

— Выходите! Руки держать на виду!

— Что делать? — прошептала Лариса.

Я достал пистолет.

Она побледнела.

— Нет.

— Они не оставят нас.

— Ты не знаешь.

— Я знаю Алмазова.

— А я теперь знаю тебя. Это страшнее.

Снаружи снова крикнули:

— Тихон! Баро велел взять всех живыми. Не вынуждай нас нарушать его слово!

Я вскинул оружие к разбитому окну. В ответ на снег легли красные точки прицелов. Не меньше четырех. Если выстрелю, меня убьют первым, а потом вытащат Ларису. Если сдамся — ребенка отдадут Ольге, а Ману, возможно, заставит меня смотреть, как моя жена остается с пустыми руками.

— Дай мне малыша, — сказал я.

— Зачем?

— Выйду с ним. Они не станут стрелять.

Лариса смотрела на меня несколько секунд, а потом ее лицо исказилось от отвращения.

— Ты хочешь прикрыться младенцем.

— Я хочу защитить тебя.

— Опять. Ты все называешь защитой. Кражу. Ложь. Мертвого сына в чужих руках. Живого — вместо щита на груди. Если ты еще раз скажешь, что делал это ради меня, я сама расскажу Алмазову, куда лучше всадить пулю.

Она распахнула дверь.

— Лариса!

Жена вышла в снег, прижимая Вадима к себе. Свет фар сделал ее тонкую фигуру почти прозрачной. Вокруг стояли мужчины с оружием и синими полосами на лицах. Цыгане. Люди отца ребенка. Они не кричали, не бросались вперед. Старший, седой, с золотой серьгой, опустил автомат и медленно поднял свободную руку.

— Не бойся, ромни. Баро велел ребенка не пугать.

— Я не ромни, — ответила Лариса. Голос дрожал, но спину она держала прямо. — И он не ваш.

— Он сын нашего баро.

— Он младенец. Сначала это, а потом уже чей-то сын.

Седой кивнул, будто она сказала нечто правильное.

— Дай посмотреть за левым ухом.

Лариса прижала Вадима крепче.

— Нет.

— Женщина, не заставляй мужчин делать то, чего никто из нас не хочет.

— Тогда не делайте.

Я вышел следом, оставив пистолет на сиденье. Красные точки скользнули по моей груди.

— Не трогайте ее. Я покажу.

— Ты к жене не подходи, — сказал седой. — Она на тебя так смотрит, что мы можем не успеть спасти.

Даже сейчас один из мужчин хмыкнул. Цыгане умеют шутить возле могилы, потому что иначе слишком часто пришлось бы плакать. Я медленно приблизился. Лариса отступила.

— Не отдам.

— Лара, они все равно заберут.

— Пусть убьют.

— Не говори так.

— Почему? Тебе можно решать, кому жить с чужим ребенком, а мне нельзя выбрать, как с ним умереть?

Я остановился. Ее слезы блестели в свете фар, но она не плакала — будто слезы просто вытекали из переполненного тела, которому больше нигде было хранить боль.

— Он должен вернуться к матери.

— А я кто?

Я не нашел ответа.

Лариса рассмеялась — тихо, безумно — и сама отогнула край одеяла. Пальцами, которые дрожали так сильно, что не слушались, убрала мягкие волосы возле левого уха ребенка.

Красный полумесяц горел на нежной коже.

Седой цыган шумно выдохнул. Мужчины вокруг заговорили одновременно, кто-то произнес имя Ману, другой перекрестился. Один опустился на колено прямо в снег и коснулся кулаком сердца, приветствуя наследника баро.

Это движение добило меня. Для них Вадим не был просто найденным младенцем. Он оказался продолжением рода, кровью Алмазовых, мальчиком, ради которого десятки вооруженных мужчин готовы лечь под пули. Я украл не только ребенка у Ольги — я украл наследника у целого народа и спрятал его в маленькой комнате, назвав именем своего мертвого сына. Теперь цыгане смотрели на меня без крика, без брани, и в их молчании уже стоял приговор.

Старший снял с шеи серебряную цепочку с круглым медальоном и положил ее поверх одеяла. На металле чернела лошадь, вставшая на дыбы.

— Знак дома баро, — сказал он. — Чтобы мальчик вернулся к отцу не безымянным.

Лариса хотела сбросить украшение, но Вадим вдруг ухватился пальцами за цепочку. Мужчины тихо засмеялись — не зло, а так, словно увидели родную черту. У моей жены задрожали губы.

— Он просто ребенок. Он хватается все, что блестит.

— Конечно, — ответил седой. — Настоящий цыган сначала берет золото, потом спрашивает, кому оно принадлежало.

Лариса прижала его ладошку к губам и заплакала сильнее. Даже эта шутка отнимала мальчика, вписывала его в чужую кровь, в обычаи и будущее, где для нее не предусматривалось места.

Лариса посмотрела на них и словно впервые окончательно поняла, кого держит.

— Значит, правда, — прошептала она.

Я кивнул.

— Прости.

Она подошла ко мне и плюнула в лицо.

— Не смей просить прощения. Прощение нужно тем, кто случайно разбил чашку, а не тем, кто поменял детей в колыбелях.

Седой приблизился.

— Мальчик едет к отцу.

— Я поеду с ним, — сказала Лариса.

— Это решит баро.

— Нет. Это решила я.

— Лара...

— Если они отнимут его сейчас, я не доеду живой. Ты хотел меня спасти? Тогда впервые сделай это не ложью.

Я посмотрел на людей Ману. На оружие, синие лица, жесткие рты. Потом на ребенка, которого украл из рук больной матери, чтобы не услышать, как моя жена кричит над мертвым сыном. Судьба не вернула мне долг. Она привела за ним вооруженных мужчин.

— Она едет с младенцем, — сказал я.

Седой прищурился.

— Ты здесь не приказываешь.

— Тогда считай это просьбой человека, которого ваш баро все равно собирается убить.

Несколько секунд он молчал, потом открыл заднюю дверь своей машины.

— Садись, женщина. Ребенка держи крепко.

Лариса прошла мимо меня. Я попытался коснуться ее плеча, но она отшатнулась, будто моя рука была покрыта грязью.

— Не трогай. Ты уже достаточно сделал.

Цыган забрал у меня оружие, заломил руки и защелкнул наручники. Боль прострелила плечо, но я почти не почувствовал. Смотрел, как Лариса садится в машину с Вадимом, как наклоняется к его лицу и шепчет что-то сквозь слезы.

— Что теперь? — спросил я.

Седой ударил меня в живот. Я согнулся, воздух вырвало из легких.

— Теперь, монах, ты расскажешь матери, почему она целовала в гробу чужого сына.

Глава 7

— Мой сын не был в могиле.

Ману произнес это над моей головой, пока нес меня вниз по лестнице, и я решила, что лекарство окончательно разорвало мне разум. Слова не могли быть настоящими. Они были слишком жестокими даже для него. Так не говорят женщине, которая целовала холодный лоб ребенка, слышала, как мерзлая земля падает на крышку маленького гроба, и каждую ночь умирала заново, потому что утром сердце почему-то продолжало биться.

— Замолчи.

— В журнале нет записи о смерти Вадима.

— Замолчи, Ману.

— Умер ребенок Тихона.

Я ударила его кулаком в грудь. Сил почти не осталось, но он остановился. Люди вокруг расступались, смотрели на нас: цыгане с синими лицами, перепуганные женщины, охранники на коленях. Среди этого дыма, крови и звона разбитых икон Ману казался не человеком — черным зверем, который вошел в Храм и теперь тащил меня из могилы за волосы.

— Если ты врешь, — прошептала я, — я убью тебя.

Его глаза стали еще темнее.

— Если вру, помогу.

— Я видела сына.

— Ты видела младенца в закрытом гробу.

— Я держала его!

— Ты знала каждую черту Вадима? Знала форму ногтей, ушей, родинку? Или тебе показали мертвого ребенка, когда ты едва стояла от лихорадки?

Меня затопило. Воспоминание всполохнуло внутренности: белая простыня, маленькое синее лицо, сомкнутые веки. Я целовала его, называла Вадичкой, прижимала к груди, а молоко пропитывало ткань между нами. Почему я не заметила? Какая мать не узнает собственного ребенка? Этот вопрос мгновенно превратился в плоть, и я сама начала бить ею себя, пока внутри не осталось живого места.

— Поставь меня.

— Нет.

— Я сказала, поставь!

— А я сказал, что больше тебя не отпущу.

— Даже сейчас ты думаешь только о том, что можешь удержать силой.

— Сила — единственное, что у меня не отняли.

— А у меня отняли все.

Он спустился в большую трапезную и посадил меня на стол. Не осторожно, но и не грубо — так ставят найденную драгоценность, которую боятся разбить и стыдятся этого страха. Я попыталась встать, ноги подломились. Ману поймал за талию, прижал к себе. Его ладони обожгли даже сквозь платье, тело вспомнило их раньше, чем я успела возненавидеть себя за эту память.

— Не трогай.

— Ты падаешь.

— Лучше упасть, чем снова принадлежать тебе.

— Падай, — процедил он, не разжимая рук. — Но в мою сторону.

— Ненормальный.

— Наконец-то узнала.

Его сарказм должен был разозлить, но вместо этого меня затрясло. Я смотрела на кровь у него на воротнике, синюю краску на скулах, на шрам возле губ и вдруг понимала, что он жив. Живой Ману держал меня, а где-то между нами возникла невозможная, чудовищная надежда на живого сына. Слишком много жизни для женщины, которая уже научилась быть мертвой.

— Мира! — крикнула я.

- Ее ведут.
- Если с ней что-то случилось...
- Тогда Даниил лишится еще одной части тела.
- Ты решаешь все резней?
- Нет. Иногда стреляю.

Дверь распахнулась. Мира бросилась ко мне, и я сползла со стола прямо в ее объятия. Она была бледной, на щеке краснел след от удара, но живая. Я вцепилась в нее так сильно, что девушка всхлипнула.

- Госпожа...
- Где ты была? Что они сделали?

— Заперли внизу. Хотели увезти. Я слышала выстрелы и думала... — она посмотрела на Ману, стоящего за моей спиной, — думала, он всех убьет.

- Еще могу, — спокойно ответил он.

Мира прижалась ко мне крепче. Я почувствовала, как она дрожит, и ненависть вернула силы.

- Отпусти нас.
- Нет.
- Мы не твои пленницы.
- Ты — моя. Она может уйти, если хочет.
- Я никуда не уйду без госпожи, — прошептала Мира.
- Ману усмехнулся.
- Тогда поздравляю. Теперь вас две.
- Ты не изменился.
- Изменился. Раньше спорил дольше.

Он положил на стол журнал. Раскрыл нужную страницу и повернул ко мне. Чернила расплывались перед глазами. Две строчки. Два младенца. Егор Тихонов — смерть зафиксирована. Вадим — пустая графа.

Пустота оказалась страшнее слова «умер». В нее можно было провалиться, придумать тысячу надежд и каждую потерять.

- Это ничего не доказывает.
- Доказывает, что тебе солгали.
- Мне могли просто не оформить запись.

— За запертой дверью лежал младенец. Его кормила жена Тихона. У ребенка красный полумесяц возле левого уха.

Я перестала дышать.

Мира закрыла рот ладонью.

- Откуда ты знаешь про метку? — спросила я.
- Ты сама сказала. Когда носила его.

Он помнил. Среди войны, ненависти и угроз он сохранил эту крошечную фразу, которую я сама едва помнила. От этого стало еще больнее.

— Метка бывает у Лебединских, — прошептала Мира. — У господина Макара тоже была.

- Не называй его господином, — резко бросил Ману.
 - Сейчас не время мериться ненавистью к моей семье!
 - Мое время началось, когда они вырезали мою.
 - А мое когда начнется? Когда вы все закончите решать, чья кровь важнее моей боли?
- Он умолк. Впервые не нашел ответа, и это испугало сильнее угроз.

Из коридора донеслись тяжелые шаги. Двое цыган ввели Тихона. Руки за спиной, лицо разбито, ряса разорвана. Он поднял глаза и увидел меня.

Все во мне окаменело.

— Нет, — сказал он.

Ману медленно повернул голову.

— Что именно тебе не нравится, монах? Что она жива или что придется говорить правду?

— Не здесь. Не так.

— Ты уже однажды выбрал, как ей узнать о смерти сына. Второго выбора не будет.

Я шагнула к Тихону. Ноги дрожали, но я дошла. Он не смотрел в глаза.

— Чей ребенок был в гробу?

Молчание.

Ману ударил его в живот. Тихон согнулся, цыгане удержали.

— Я спросила! — закричала я. — Чей лоб я целовала? Кого называла Вадимом? Чьего мертвого сына вы положили мне на руки?

— Моего, — выдохнул Тихон.

Мир не рухнул. Он уже был разрушен, и теперь просто осыпалась пыль.

— Как его звали?

— Егор.

Имя вошло под ребра. У мертвого младенца было имя. Была мать, которая, возможно, не знала, где лежит ее сын. А я присвоила его смерть, плакала над ним, как над своим, и даже в могиле он оставался жертвой чужой лжи.

— Где Вадим?

— У Ларисы.

— Жив?

Тихон закрыл глаза.

— Жив.

Я ждала, что это слово исцелит. Что внутри расправятся легкие, перестанут болеть кости, исчезнет холод могилы, поселившийся под кожей. Но «жив» оказалось не светом — взрывом. Оно разорвало все, что я успела выстроить вокруг смерти сына, и обломки рухнули на меня. Если Вадим жив, значит, каждый мой поцелуй у гроба достался другому младенцу. Каждая молитва была обращена не туда. Каждая минута, когда я соглашалась продолжать существовать без него, становилась предательством.

— Когда ты его забрал?

— Ночью после родов.

— Я держала его утром.

— Ты держала Егора.

— Нет.

— Ольга...

— Нет! У Вадима были темные волосы. У того малыша тоже. У него был маленький рот, складка на подбородке... — Я лихорадочно перечисляла черты, пытаюсь доказать хотя бы себе, что видела сына. — Он сжимал палец. Я помню.

Тихон поднял на меня глаза, и жалость в них стала последним унижением.

— Мертвые дети не сжимают пальцы.

Меня качнуло. Ману удержал за локоть.

— Значит, я это придумала?

— Ты была в горячке. Повитуха вложила твой палец ему в ладонь и сказала, что он держит. Ты хотела верить.

Я закрыла рот рукой. Из памяти всплыла женщина с опущенными глазами, ее шепот: «Смотрите, матушка, он вас чувствует». Не чувствовал. Не мог. Они создали для меня последнее движение сына, чтобы ложь стала убедительнее.

— Повитуха знала?

- Я заплатил ей.
- Чем?
- Деньгами Храма.
- Сколько стоила моя могила?

Тихон молчал.

- Я спрашиваю, сколько!
- Пять тысяч.

Я рассмеялась. Пять тысяч. Мою жизнь разломали за сумму, которую отец когда-то оставлял официанту после ужина. Вадиму назначили цену раньше, чем имя успели вписать в документы.

- А гроб?
- Даниил велел закрыть.
- Почему?
- У Егора был шрам на груди после попытки реанимации. Ты могла заметить.
- Но мне позволили открыть.
- Ненадолго. Лицо подготовили. Тело завернули.
- Подготовили... — повторила я. — Как вещь для продажи.
- Я хотел признаться возле могилы.
- Но не признался.
- Лариса пришла с Вадимом. Он впервые спокойно спал у нее на руках. Она улыбалась.

После смерти Егора она не улыбалась ни разу. Я увидел их и... не смог.

- Не смог разрушить ее счастье, поэтому оставил меня разрушенной.
- Да.

Честность не облегчила. Она просто сняла последнюю повязку с раны.

Мира плакала рядом. Я почувствовала ее пальцы на своем плече и резко отстранилась.

— Ты знала?

— Нет! Госпожа, клянусь, я не знала. Я сама видела малыша только после того, как его завернули. Я думала... — голос Миры сорвался, — я тоже думала, что это Вадичка.

— Мы обе не узнали.

— Нас не пустили к нему сразу. Вы были без сознания, я искала врача. Они все сделали до того, как мы вошли.

— Но мать должна знать.

Ману схватил меня за подбородок и заставил поднять лицо.

— Хватит.

— Убери руки.

— Они украли ребенка, а ты помогаешь им добивать тебя. Хватит повторять, что должна была узнать. Ты не виновата.

— Тебе удобно так говорить. Тогда виноват только Тихон, и его можно убить. А ты? Ты угрожал сыну, выгнал меня, заставил бежать. Если бы я не боялась тебя, он остался бы рядом со мной.

Лицо Ману окаменело.

— Я сказал, что разберусь с собой позже.

— Ты всегда разбираешься с собой чужой кровью.

— Тогда возьми мою.

Он вытащил нож и вложил мне в ладонь. Рукоять была теплой от его тела.

— Режь. Но после того, как обнимешь сына. Я не позволю твоей ненависти украсть у него еще одну минуту с матерью.

Я смотрела на лезвие, на его грудь, куда достаточно было ударить один раз. Когда-то я уже сделала это ядом. И все же разжала пальцы. Нож упал на каменный пол.

— Не сейчас, — прошептала я.

— Значит, позже, — ответил он и оттолкнул оружие носком сапога. — Я никуда не уйду.

Я ударила его. Потом еще раз. Не помню, кричала ли. Помню хруст его губы под костяшками, вкус крови во рту, хотя кровь была не моя, и руки Ману, перехватившие меня сзади. Я билась в них, пинаясь, выла, пыталась дотянуться до монаха ногтями.

— Ты слышал, как я плакала! — голос рвался мясом. — Ты стоял за дверью! Ты позволил мне просить прощения у чужого ребенка!

— Ольга...

— Не произноси мое имя!

— Я думал, ты умрешь. Вадим голодал. Лариса потеряла ребенка и хотела уйти за ним. Я сказал себе, что спасаю вас.

— Ты спас жену моей могилой!

Тихон побледнел. Ману сжал меня сильнее, не позволяя броситься вперед.

— Отпусти! Я убью его!

— Нет.

— Ты обещал!

— Он сначала приведет нас к сыну.

— Я знаю дорогу, — сказал один из цыган. — Наши уже везут ребенка.

Везут.

Надежда вцепилась зубами в горло. Я перестала вырываться.

— Когда?

— Скоро будут.

— Насколько скоро?

— Ольга, — Ману повернул меня к себе, — дыши.

— Не приказывай мне дышать! Я дышала, когда он лежал в земле. Я ела, спала, ходила, пока мой ребенок был жив у чужой женщины. Какая мать так может?

— Та, которую обманули.

— Я должна была узнать Егора!

— Ты видела Вадима несколько часов после родов, больная и изможденная.

— Я мать!

— Именно поэтому ты сейчас рвешь себя на части за чужую ложь.

Я ударила его ладонями в грудь.

— Не смей меня оправдывать! Ты не был рядом!

Он перехватил запястья.

— Да. Не был. Хочешь еще одну спину для плети — бей меня. Но сына верну.

— А потом?

— Потом заберу вас обоих.

— Он не вещь!

— Он мой наследник.

— Он мой ребенок!

— Наш, — рявкнул Ману, и комната замолчала. — Он наш сын, Ольга. Можешь ненавидеть меня, можешь снова попытаться убить, но даже твое горе не вырежет мою кровь из его вен.

Я смотрела в его бешеные глаза и впервые понимала: он тоже боялся. Не потерять власть, не показаться слабым перед людьми — поверить, что сын жив, и снова увидеть могилу. Его страх был таким же уродливым, как мой: мой заставлял отталкивать надежду, его — приказывать ей.

С улицы донесся рев моторов.

Я вырвала руки и бросилась к двери. Мир качался, ступени расплывались, кто-то позвал меня, но я бежала. Босые ноги скользили по камню, платье цеплялось за перила. Ману догнал внизу, схватил за талию.

— Отпусти!

— Упадешь.

— Тогда упаду к нему!

Во двор въехали две машины. Цыгане окружили первую. Задняя дверь открылась, и вышла женщина с младенцем на руках.

Темные волосы, бледное лицо, кровь на виске. Лариса.

Она держала моего сына.

Я узнала его прежде, чем увидела лицо. По тому, как маленькая голова лежала у нее под подбородком. По кулачку, высунувшемуся из одеяла. По запаху молока, который мне, наверное, только привиделся через весь двор. Грудь пронзило болью, ткань платья мгновенно стала влажной.

— Вадим...

Младенец повернул голову на мой голос.

Мир остановился.

Я шагнула вперед. Лариса отступила.

— Не подходи.

— Это мой сын.

— Я знаю.

— Отдай его.

Ее руки сомкнулись крепче.

— Я не могу.

Я засмеялась. Из горла вырвался страшный звук, похожий на треск ломаемых костей.

— Ты не можешь? Я похоронила чужого ребенка, пока ты кормила моего, и теперь ты не можешь?

— Я не знала!

— А теперь знаешь. Отдай.

— Он испугается. Он не знает тебя.

Это было правдой. Самой жестокой из всех. Мой сын смотрел на меня чужими глазами, а когда я протянула руки, прижался лицом к груди Ларисы.

Меня разорвало.

Я согнулась, потому что иначе боль переломила бы позвоночник. Ману удержал, не дал упасть. Я ненавидела его руки и цеплялась за них одновременно, пока слезы лились по лицу.

— Он меня боится, — прошептала я. — Мой ребенок меня боится.

— Он младенец. Он ничего не понимает.

— Он понимает, кто его мать. И это не я.

Лариса заплакала. Ее лицо исказилось, и на секунду я увидела не воровку — женщину, которой тоже сейчас вырывали сына, пусть не по крови, но по каждому прожитому рядом часу.

Ману не увидел. Или не захотел.

Он подошел к ней и протянул руки.

— Отдай моего сына.

— Нет.

Цыгане вокруг напряглись. Тихона вывели из машины и поставили на колени. Лариса посмотрела на мужа, потом на Ману.

— Если отнимете силой, он будет кричать.

— Пусть кричит, — голос Ману стал ледяным. — В моем роду дети имеют право кричать у отца на руках.

Он забрал Вадима.

Лариса закричала так, будто ей вскрыли грудь. Тихон рванулся, получил удар прикладом и упал в снег. Младенец заплакал, выгибаясь в руках Ману, а я стояла напротив и не могла сделать шаг. Мой сын был жив. Совсем близко. И между нами лежала целая могила.

Ману посмотрел на меня поверх маленькой головы.

— Бери.

Я протянула руки.

Вадим плакал, пока не коснулся щекой моей груди. Потом замер. Всхлипнул. Повернул лицо к влажной ткани, узнавая запах, который тело сохранило для него вопреки смерти, лжи и земле.

Я провела пальцем по его щеке. Теплой. Живой. Не восковой, не холодной, не приготовленной чужими руками для прощания. Под тонкой кожей бился пульс, и каждый удар отдавался во мне, как возвращенное сердцебиение. Я плакала ему в волосы и боялась моргнуть: вдруг мир снова отнимет его, стоит закрыть глаза.

И открыл рот в беззубой улыбке.

Глава 8

Мой сын улыбнулся Ольге.

Не мне. Не людям, вставшим перед ним на колени. Не серебряному знаку дома Алмазовых, лежавшему на одеяле. Ей. Рыжей, босой, измученной женщине, которая держала его так, будто боялась, что мир снова передумает и заберет обратно.

Я смотрел на них и не мог сделать вдох.

Вадим уткнулся лицом в ее грудь, маленькие пальцы вцепились в черную ткань, а Ольга плакала ему в волосы. Тихо. Без истерики, без крика — слезы просто текли по ее белому лицу и падали на его лоб. Так плачут не от счастья. Счастье не умеет выворачивать кости и заставлять сердце биться с перебоями. Это была боль женщины, которой вернули ребенка после похорон, но забыли вернуть прожитые без него дни.

— Он меня узнал, — прошептала она.

— Конечно, узнал.

— Не говори так, будто был уверен.

Я не был. Когда Вадим прижался к Ларисе, а от Ольги отвернулся, меня прошило страхом, настолько диким, что я чуть не вырвал младенца у обеих. Хотелось приказать сыну помнить мать. Приказать крови заговорить. Приказать судьбе вернуть все правильно, потому что иначе я разнесу ее на куски вместе с небом.

— Теперь уверен.

Ольга подняла на меня глаза. Бирюзовые, огромные, залитые слезами. Огненные волосы спутались вокруг лица, губа была разбита, платье испачкано кровью. И все же я никогда не видел ее красивее. Красота не должна выглядеть так — как открытая рана, к которой хочется прижаться ртом и умереть от потери крови вместе с ней.

— Отвернись, — сказала она.

— Зачем?

— Я хочу его покормить.

— Корми.

— Без тебя.

— Нет.

Она закрыла глаза. Я увидел, как под тонкой кожей на виске забилась жилка.

— Ману, вокруг десятки мужчин.

Я повернулся к людям.

— Все вышли со двора.

Никто не переспросил. Ромалэ начали расходиться, увлекая пленных. Савелий махнул рукой, освобождая галерею. Через минуту остались только я, Ольга, Мира и врач, которого притащили из соседнего поселка.

— Теперь довольна?

— Ты тоже мужчина.

— Я отец ребенка.

— Это не дает тебе права смотреть.

— Мне право никогда не требовалось.

Она хотела ударить, но Вадим захныкал. Ольга мгновенно забыла обо мне. Прижала сына, зашептала что-то бессвязное, целуя его щеку. Врач указал на комнату первого этажа, куда принесли чистые простыни и зажгли лампы.

— Ей нельзя стоять. У женщины лихорадка, обезвоживание и, возможно, воспаление. Ребенка тоже нужно осмотреть.

— Осматривай.

— Наедине.

— Сегодня все слишком хотят остаться наедине с моей семьей.

Ольга посмотрела с ненавистью.

— Выйди. Или я не позволю врачу ко мне прикоснуться.

— Это угроза себе, не мне.

— Значит, тебе будет не больно смотреть, как я умру.

Я наклонился к ее лицу.

— Еще раз произнесешь это слово, рыжая, я привяжу тебя к кровати и заставлю жить назло.

— Вот она, твоя любовь. Веревки, угрозы и запертые двери.

— Другой у меня нет.

Ее губы дрогнули. Не от страха. Будто эта честность попала туда, где ложь уже не могла причинить большего вреда.

Я вышел, но остался за дверью. Слышал, как врач задает вопросы, как Ольга раздраженно отвечает, как Вадим начинает плакать. Потом наступила тишина, и через несколько минут до меня донеслись тихие глотки.

Сын ел.

Я прислонился затылком к стене. Внутри все разом ослабло. Впервые за много лет мне захотелось не убивать, не мстить, не отнимать — просто закрыть глаза и слушать, как мой ребенок дышит за дверью.

— Красиво, правда?

Лариса стояла в конце коридора. Двое моих людей держались позади, не приближаясь. Ее темные волосы растрепались, кровь на виске запеклась, руки были пустыми и прижатыми к животу, будто она еще пыталась удержать исчезнувший вес младенца.

— Что именно?

— Как легко настоящая мать заняла мое место.

— Оно никогда не было твоим.

Она вздрогнула. Я увидел, как слова ударили, но не забрал их. В моем мире за украденное платят, даже если воровка не знала, что держит чужое.

— Я не крада его.

— Ты жила с человеком, который украл.

— А Ольга жила с тобой. Значит ли это, что она отвечает за каждого убитого тобой?

Я медленно повернул голову. У этой тихой женщины оказалось больше смелости, чем у половины мужчин Храма.

— Следи за словами.

— Зачем? Ты уже забрал единственное, чем мог напугать.

За дверью снова пискнул Вадим. Лариса побледнела и сделала шаг, но цыган преградил дорогу.

— Я хочу его увидеть.

— Нет.

— Он привык засыпать у меня. После кормления у него болит живот, нужно держать столбиком. Если положить сразу, начнет кашлять.

Я ненавидел, что она знает моего сына лучше нас. Знает, как он спит, чего боится, какой звук издает перед плачем. Каждое ее знание было украденным днем Ольги и моим собственным опозданием.

— Врач разберется.

— Врач не был с ним ночью.

Дверь открылась. Мира выглянула наружу.

— Баро... госпожа просит Ларису, — сообщил мужчина, не поднимая глаз; просьба Ольги явно пугала его сильнее возможного приказа Ману.

— Зачем?

— Малыш не берет вторую грудь. Она говорит, Лариса может знать, почему.

Я стиснул челюсти. Лариса закрыла глаза, и по ее щеке покатились слезы. Не торжество. Облегчение оттого, что она еще нужна ребенку.

— Пять минут, — сказал я. — Дверь открыта.

— Ты даже материнскую боль выдаешь по минутам? — спросила она.

— Радуйся, что вообще выдаю.

Она прошла мимо. Я вошел следом.

Ольга сидела на кровати, прикрытая простыней. Рыжие волосы рассыпались по голым плечам. У груди лежал Вадим, теплый, сонный, с молоком в уголке рта. Картина ударила в пах раньше, чем я успел назвать себя последней тварью. Желание вспыхнуло мгновенно, грязно и мучительно: к женщине, только что вернувшей сына, больной, израненной, ненавидящей меня. Я отвернулся на секунду, сжимая кулаки, но Ольга заметила.

— Прекрати на меня так смотреть.

— Как?

— Будто можешь взять все, что видишь.

— Могу.

— Только попробуй.

— Не сейчас.

Два слова повисли между нами угрозой и обещанием. Ее щеки вспыхнули, в глазах мелькнула ярость, слишком похожая на тот огонь, который всегда заставлял меня терять разум.

Лариса приблизилась к кровати. Ольга мгновенно натянула простыню выше.

— Почему он отворачивается?

— Молоко идет слишком быстро. Он захлебывается, — тихо сказала Лариса. — Держи его выше и седи немного сначала.

Ольга подчинилась, хотя каждое движение выдавалось ей унижением. Лариса не касалась ребенка, только показывала на собственных руках. Через минуту Вадим снова ел спокойно.

Две женщины смотрели на него. Одна родила. Другая спасла и выкормила. Я стоял рядом и впервые понимал, что сила здесь ничего не решает. Можно отнять младенца, приставить оружие к виску, заставить всех признать кровь Алмазовых, но нельзя приказать Ларисе перестать любить. И нельзя заставить Ольгу не ненавидеть ее за эту любовь.

— Спасибо, — выдавила Ольга.

Лариса зажала рот ладонью.

— Он просыпается около четырех. Не любит тугое пеленание. Если трет нос, значит хочет спать, а не есть. И... — голос сорвался, — он успокаивается, когда ему поют.

— Что?

Лариса запела едва слышно. Простая колыбельная, русская, без цыганских переливов. Вадим замер у груди Ольги и прислушался.

Ольга побелела.

— Хватит.

— Я только хотела...

— Хватит! Он мой сын. Я сама узнаю, как его успокаивать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.